

ЛЕОНИД ТОКАРЕВ

СКВОЗЬ ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО





ЛЕОНИД ТОКАРЕВ

СКВОЗЬ ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

ЧЕСТЬ . ОТВАГА . МУЖЕСТВО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1966

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Четверть века назад над фортами и казематами Брестской крепости взвилось пламя Великой Отечественной войны. Нам одними из первых пришлось принять удар фашистов. В те далекие дни у всех была одна мысль: «Выстоять и победить!» Нелегко и сложен был путь к победе. Мало кто из наших боевых друзей дожил до 9 мая 1945 года — Дня Победы.

Но мы, оставшиеся в живых, навсегда сохранили в памяти и первые дни Брестской обороны и подвиги погибших товарищей. Нелегко и длинен был путь к победе. Одним из пишущих эти строки удалось выполнить боевой приказ и вырваться из крепости. Они прошли суровый путь от Бреста до Сталинграда и от Сталинграда до поверженного Берлина.

Другим не повезло. Они испили полной чашей страдания в фашистских концлагерях...

Четверть века. Это немалый срок. За это время дети, родившиеся после сорок первого года, выросли, возмужали, стали зрелыми людьми. Мы, старшее поколение, передаем эстафету жизненных свершений в надежные руки. Вы, бывшие мальчишки и девчонки, строите новые просторные города, укрощаете бег сибирских рек, запускаете в космос лучшие в мире научные лаборатории, опускаетесь в недра земли. У вас уже есть дочери и сыновья — наши внуки. И чтобы они жили мирно и счастливо, мы все должны помнить о прошлом.

Говорят, что время излечивает раны прошлого. Может быть. Но шрамы от ран остаются. Они навсегда! Мы должны сделать

так, чтобы не появилось таких же шрамов на душах наших детей и внуков. Для этого надо бороться за мир, укреплять могущество нашей великой Родины. И помнить. Крепко помнить о тех тяжелых временах Отечественной войны, которые пережил наш советский народ. Они, эти времена, не должны повториться.

Об этом и говорят страницы автобиографической повести «Сквозь огненное кольцо», которую написал наш юный товарищ по обороне Брестской крепости, сын командира батальона 333-го стрелкового полка Леонид Токарев. Эта повесть-быль напомнила нам июньские дни сорок первого года, дни обороны Брестской крепости. Дорога войны уводит героя повести из Брестской крепости на восток, к своим. Эта дорога, полная опасностей, встреч с настоящими, стойкими людьми — разведчиками и партизанами — патриотами нашей Родины, закаляет дух подростка. И недаром автор поставил эпиграфом к своей книге слова Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

Мы уверены, что читатели тепло примут эту небольшую повесть о боевом детстве командирского сына Ленки, который нашел в себе и силы и мужество пройти военную дорогу до конца.

Д. ГОРЯЧИХ, начальник особого отдела
333-го стрелкового полка, А. РОМАНОВ,
П. КАШКАРОВ, С. МАТЕВОСЯН, Н. РАЗИН —
участники обороны Брестской крепости

Лишь тот достоин жизни и
свободы,
Кто каждый день за них идет
на бой.

Гёте

Взорванная тишина

Сквозь сон я чувствую сильную боль в локте. Проходит несколько секунд, прежде чем я соображаю, что лежу на полу рядом со своей кроватью. Приподнимаюсь на руках, чтобы взобраться опять на кровать, но взрыв, от которого до боли свело зубы и с силой вдавило воздух в уши, заставил испуганно прижаться к холодному полу. Я лежу в своей комнате на полу и жду, когда же кончится этот кошмарный сон и я проснусь. Тогда я еще и не мог предполагать, что этот фантастический сон продлится для меня многие и многие месяцы и что эти минуты будут далеко не самыми жуткими в нем.

Сквозь шум, треск и свист ко мне вдруг прорывается неторопливый, очень знакомый мелодичный звон: дон... дон... дон... дон. Я оборачиваюсь на звук и вижу наши часы, которые только что отбили четыре раза. И только тут я отчетливо осознаю, что все происходящее вокруг — реальность. Я сажусь и осматриваюсь. Яростные всплески огня мечутся за окном и, отражаясь в зеркале маминого трюмо, испуганными бликами пляшут по стенам, придавая всей комнате жуткий, незнакомый вид. Следующий оглушительный взрыв вышиб оконную раму, и осколки стекла разлетелись по всему полу. Густые клубы пыли и дыма медленно стали вползать в комнату. Дышать стало

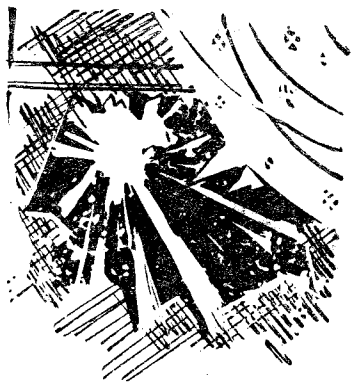
нечем: в рот, в нос, в уши набились пыль и песок. Залпы шли один за другим, каждый новый взрыв на миг делал воздух плотным и горячим.

Дверь, ведущая в отцовский кабинет, распахнулась, и оттуда выскочил ординарец отца, Николай. В одних галифе, по пояс голый, но в пилотке, он одной рукой сжимал гранату, а другой — пистолет.

Николай замер, увидев меня на полу около кровати, но оглушительный взрыв за окном заставил и его броситься на пол. Жалобно звякнуло и пошло трещинами зеркало, посыпалась штукатурка. Старинные часы, стоявшие на полу как раз против окна, нехотя качнулись раз, другой, как будто раздумывая, на миг прижались к стене, а затем, словно решившись, ринулись вниз. Комнату снова наполнил резкий и тонкий перезвон курантов. Казалось, что этот мирный звон на мгновение перекрыл гул канонады. Стрелки навечно замерли на четырех часах и пяти минутах.

С ужасом осознав, что часы, которыми так дорожила мама, теперь уже не починит самый искусный мастер в городе, я не на шутку перепугался.

— Лень, ты жив?! — выдохнул Николай в самое ухо.





Приподняв голову, хотел было ответить: «Угу», но тут под самым окном так грохнуло, что весь дом пошел ходуном. Пришлось ткнуться носом в паркет и плотнее прижаться к теплому и сильному телу лежавшего рядом человека. При каждом взрыве сердце мое начинало бешено колотиться в груди, и мною владело одно желание — поглубже втиснуться в пол. Хотелось сравняться с ним, стать маленьким-маленьким, как «мальчик с пальчик», недостижимым для осколков, которые то и дело напоминали о себе пронзительным верещащим звуком.

Сколько мы так лежали, не знаю. Грохот разрывов смолк. Давящая тишина захлестнула меня. От нее до боли заломило в ушах, в голове появился высокий, несмолкающий звон. Он был так нетерпим, что я заткнул уши пальцами. Когда я отнял пальцы, с улицы донеслись пронзительный ребячий крик и причитания какой-то женщины.

— Ленька! Одевайся, быстро! — приказал Николай, а сам скрылся за дверью отцовского кабинета.

Пока я испуганно напяливал на себя штаны и рубаху, в окно ворвались ноющие звуки авиационных моторов. Вдруг один из этих стонущих звуков перешел в пронзительный, все нарастающий вой. Ближе, ближе, ближе! Оцепенев, я прижался к стене. Из кабинета выскочил Николай. Он был теперь в полной военной форме.

— Быстро в укрытие! — рявкнул он, подняв за шиворот упавшую на колени домработницу Зосю, все время повторявшую: «Матка боска! Матка боска!», и выскочил в подъезд. Я бросился за ним.

Напротив подъезда был глубокий подвал. На его

дубовой двери висел замок. Недолго думая, Николай схватил булыжник, валявшийся на земле, и одним махом сбил замок. Мы начали спускаться по крутым ступеням. Плотный волглый мрак подземелья обступил нас со всех сторон. С каждой ступенькой зловещий голос войны отдалялся, становился глуше. Мы молча сидели в темноте, чувствуя, как под нами билась и дрожала в ознобе земля. Каждый думал о своем. Все было неожиданно и больше походило на кадры из какого-то давно забытого фильма. Только и я, и Николай, и Зося были не зрителями, а самыми настоящими участниками этого страшного события. Никто не знал, что ждет нас через секунду-другую. Каждый близкий разрыв заставлял замирать сердце, на лбу выступала испарина.

Еще вчера вечером мы с Николаем, ни о чем не ведая, смотрели в полковом клубе «Чапаева». После Николай поспешил домой. Он каждую субботу писал своей маме на Кубань обстоятельные и серьезные письма. В них он рассказывал буквально обо всем. Даже о том, что я набедокурил в школе или получил пятерку. Ординарец с нетерпением ждал дня, когда закончит действительную и уедет домой. Там его ждала дивчина и работа — он был сельским кузнецом. В письмах из дому ему сообщали, что в колхоз прибывает богатая техника и очень нужны люди, разбирающиеся в слесарном деле и машинах.

Миролюбие, добродушие и любовь к земле уживались у Николая с любовью к армии и отличным знанием военного дела. Поэтому-то отец и взял его к себе. Я знал, что отец надеялся оставить Николая на сверхсрочную. Но тот об этом и слушать не хотел,

Со стен и потолка, шурша, посыпался песок.

«Как же был прав дедушка Сережа, — подумал я, — говоря: «Гитлер — враг нашему народу!» Тысячу раз прав! А ведь папа с ним был не согласен. А может, делал вид, что не согласен?»

Вспомнив о родных, я почувствовал, как тугой комок подступил к горлу.

Мне так захотелось, чтобы и папа и мама были здесь, рядом. Тогда мне совсем стало бы не страшно. Но их не было. Они, наверное, уже где-то в пути. Я до мельчайших подробностей припомнил последний серьезный разговор с отцом, за неделю до отъезда родителей в отпуск. Еще раньше отец обещал взять меня с собой в отпуск, если я закончу шестой класс на «хорошо» или «отлично». И хотя я свое обещание добросовестно выполнял, отец же свое выполнить не смог — ему предоставили отпуск за три недели до окончания моих занятий в школе. Мне было очень обидно. И тогда-то и состоялся этот памятный разговор. Отец говорил о трудностях службы на границе, о строгой дисциплине, которая распространяется не только на бойцов, но и на командиров пограничного города. Он разговаривал со мной, как со взрослым, и этот разговор примирил меня с моей судьбой.

Невысокого роста, стройный и широкоплечий, с тонкой перетянутой талией, отец производил впечатление человека намного моложе своего возраста. Его худощавое лицо, опаленное солнцем, приобрело коричневатый оттенок, отчего зеленые, с хитринкой глаза казались светлыми-светлыми, почти белесыми, что еще больше подчеркивалось совершенно выгоревшими бровями. Тонкий нос с чуть-чуть заметной гор-

бинкой, высокий крутой лоб и хохолок светло-рыжих, по-суворовски отброшенных назад, редких волос придавали лицу мужественное и гордое выражение.

Подчиненные любили отца, считали его справедливым, хотя и строгим.

Простой крестьянский сын, он совсем юнцом пошел в Красную Армию, дрался за советскую власть. Не раз был ранен, но не захотел оставить армейскую службу. Закончил высшее училище, дослужился до капитана, участвовал в хасановских событиях, а в 1939 году вместе со своей частью освобождал Западную Белоруссию.

Здесь, неподалеку от города Брест-Литовска, в старой и огромной, вошедшей в историю Брестской крепости, расположенной на слиянии двух рек — Буга и Мухавца, и разместился 333-й стрелковый полк 6-й Орловской краснознаменной дивизии. Отец командовал первым батальоном.

Я любил отца и гордился им. Но в наших отношениях не было той непосредственности, близости и тепла, которая связывала меня с матерью. С ней я делился самыми сокровенными думами и тайнами, спрашивал совета, в трудные минуты искал помощи и поддержки. С отцом же держался более сдержанно. Видимо, это объяснялось тем, что он был по натуре человеком немногословным, смотрел на меня, как на мужчину и товарища, никогда не вмешивался в мои дела. А если порой ему и приходилось говорить свое веское отцовское слово, то делал это сдержанно и тактично, не повышая голоса и не задевая моего самолюбия, чего нельзя было сказать о матери. А может, такие отношения сложились и потому,

что папа часто бывал в разъездах и виделись мы с ним весьма редко. Кто знает?

Я был здорово похож на отца. Даже глаза и те были зеленые, с точечками-рыжинками. А о волосах и говорить не приходилось: они были золотисто-рыжие и немного вились. И за золотисто-рыжие волосы и за рассыпанные по всему лицу веснушки приходилось частенько страдать, а иногда и слышать обидные прозвища вроде «пожарная команда».

Но я немедленно выступал на защиту своей попорченной чести. И тогда где-нибудь в укромном уголке школьного двора обидчик получал по заслугам и, размазывая по лицу слезы и кровь из расшибленного носа, с позором покидал поле битвы. В такие дни приходилось являться домой в разорванной рубашке, с добрым синяком под глазом.

Мама, взглянув на любимого сыночка, всплескивала руками.

— Мальчик мой, что случилось? — говорила она, прижимая меня к себе и ласково глядя волосы. — Ты упал? Разбился?

Я предпочитал отмалчиваться и только посапывал: врать все равно было бесполезно. Чересчур быстро мои школьные победы становились достоянием возмущенных мамаш побежденных.

Видя, что сын молчит, мама сразу догадывалась, в чем дело. Жалость уступала место негодованию.

— Опять подрался?! Снова меня к директору школы вызовут? Нет на тебя управы! Вот подожди, отец приедет...

Но я был уверен, что отец, узнав, в чем дело, не станет читать нотацию, а своим молчанием докажет,

что он мой союзник. Матери же, когда они останутся одни, скажет:

— Это пустяки, Лида, не волнуйся. Я тоже, бывало, дрался, когда меня дразнили. Правильно делает, что не дает себя в обиду, а синяк — ерунда, до свадьбы заживет! Не беспокойся: такой уж народ эти мальчишки!

В школу мы добирались двумя путями: по Кобринскому шоссе или же через главные, Северные ворота крепости, по булыжной мостовой, проходившей над железнодорожными путями. Вначале, когда мы только что приехали в 1939 году в Брест, нас возили в школу на военных повозках, а потом на полуторке с закрытым кузовом. В машине было тесно, темно и ужасно шумно. Доходило до того, что шофер, уравновешенный и степенный красноармеец, не выдерживал, резко тормозил и, рванув дверцу, грозно вопрошал:

— Что, пешком захотели топать?! Если не прекратите блажить — высажу всех!

Мне же отец частенько разрешал ездить в школу верхом на лошади по кличке Павлин. В эти дни я чувствовал себя на седьмом небе. Правда, одного меня пока еще не отпускали — меня всегда сопровождал ординарец отца, Николай Новиков. До города мы обычно шли резвой рысью, а уж по улицам ехали медленно, степенно. Даже озорной Павлин чувствовал всю торжественность момента: пританцовывая, он выбивал на камнях мостовой звонкую дробь и, гордо изогнув тонкую шею, косил в мою сторону своим блестящим глазом, будто спрашивая: «Ну как, доволен?»

До уха моего нередко доносились удивленные голоса:

— Смотрите, какой молоденький командир!

Что и говорить, слова эти наполняли меня такой радостью, что и не передашь! Ведь моя наипервейшая мечта была — стать военным и, конечно, кавалеристом. Недаром же я родом с Кубани.

Поэтому и одевался я в военную форму: ходил в сапогах, гимнастерке и шинели. Правда, зимой на голове моей красовалась мохнатая кубанская папаха с алым верхом.

В школе, где я учился, работало много учителей, преподававших еще в дни панской Польши, да и добрая половина моих одноклассников были тоже местными. Вели они себя чинно, боялись преподавателей, прилежно готовили домашние задания. Мы же, новички, своими буйными выходками внесли в их среду смуту, поколебали авторитеты. Особенно «доставалось» географу — безобидному, всегда аккуратно одетому в старенький черный костюм старику, начинавшему всегда урок одной и той же фразой:

— Итак, господа, на чем мы остановились в прошлый раз?

Слово «господа» вызывало у нас, ребят из крепости, бурю восторгов. Бедного географа никто иначе, чем «господа», не называл.

И надо же было стрястись беде со мной именно на уроке у «господа». По дороге в школу мы с Николаем подобрали полузамерзшую ворону. Я запихал ее в кожаную полевую сумку, что носил вместо портфеля, да так с ней и прибыл в школу. Мне было жаль ворону: не замерзать же ей на улице! Птицу

я засунул в парту, надеясь, что она будет вести себя смиренно. А тут «господа» возьми да и вызови меня к карте.

И вдруг, когда я шарил указкой по зеленым просторам Южной Америки, отыскивая истоки реки Амазонки, за моей спиной раздалось хриплое карканье. Я резко повернулся. Неблагодарная ворона вывалилась из парты и боком, боком, распутив крылья, запрыгала между рядами, норовя пробраться к окну. И географ и ребята — все замерли от неожиданности. Кто-то бросился к вороне, пытаясь схватить ее, но не тут-то было. Моя ворона не собиралась сдаваться. Она ловко увернулась от преследователей, подпрыгнула и, отчаянно каркая, понеслась над головами ребят.

Что тут было — словами не передашь! Девчонки завизжали, ребята повскакивали на сиденья, пытаясь схватить мечущуюся птицу. И лишь два человека оставались в этом общем гвалте неподвижными. Один с перепугу — это я. Другой от неожиданности — это «господа». У него даже челюсть отвисла, и он не смог вымолвить ни слова вплоть до момента, когда в класс ворвался возмущенный директор.

Расплата была суровой и, по-моему, несправедливой! Меня попросту исключили из школы за хулиганство, даже не приняв во внимание мои объяснения. А что было дома — лучше об этом умолчу. На целый месяц я стал домашним арестантом.

Меня занесли в «черный список» неисправимых и не желали принимать ни в одну школу города. Не помогало и то, что учился я довольно хорошо. Только после вмешательства отца меня условно

зачислили в другую школу, что находилась рядом с площадью Ленина, да и то «до первого проступка».

А отец, вернувшись от директора, прямо заявил:

— Если еще произойдет что-нибудь подобное, то без разговоров поедешь к дедушке в Новороссийск!

«Первого проступка» так и не последовало. В новой школе я вел себя «тише воды, ниже травы». Меня даже в пример другим ставили! Я стал самым исполнительным и не по-мальчишески сдержанным учеником в школе. А что поделаешь? Не мог же я променять полную приключений жизнь границы на какой-то город, пусть даже и портовый. Дедушка Сережа в самом начале весны сорок первого года приезжал к нам в Брестскую крепость и обещал приехать сюда на все лето. Ведь это были места, где он, совсем еще молодой, служил в царской армии перед первой мировой войной. Его казачья сотня располагалась в тех же казармах, что и наш полк. Об истории Брестской крепости он много знал и рассказывал.

В Брестской крепости несло службу не одно поколение русских воинов. Первые земляные и деревянные укрепления русского города-крепости появились в устье Мухавца в конце десятого века. И назывался он тогда Берестьё. Отсюда и Брест. Теперешняя Брестская крепость строилась долгие годы. В прошлом веке она считалась одной из неприступнейших цитаделей мира. И эту славу она заслужила в первую очередь из-за своего удачного стратегического расположения. Разместилась она на трех искусственных островах у места впадения реки Мухавец в Западный Буг. От самой воды поднимались толстенные кирпичные стены, облепленные космами

столетних мхов и лишайников. Кольцевая стена центральной цитадели протянулась почти на два километра. Многокилометровое кольцо высоких валов огибало весь укрепрайон, ныряя в воды рек и разрываясь мостами. Белые лилии и кувшинки буйно цвели в ленивой воде крепостных рвов. Жизнь в крепости протекала и на земле и под землей. И даже больше под землей. Там находились главные арсеналы, казематы и подземные ходы сообщений.

На центральном острове возвышалось суровое здание Белого дворца. Здесь 3 марта 1918 года советские представители подписали Брестский мир с империалистической Германией. И Брест же первым принял бой в войне с фашистской Германией.

Когда наша семья приехала в Брест в 1939 году, мы поселились в одном из домов, где жили семьи офицеров. Дома эти, выстроенные из такого же ярко-коричневого кирпича, что и казармы, были двухэтажные, утопали в зелени тополей, лип и густых зарослей жасмина.

Население этих домов — особенно его ребячья половина — всегда было в курсе гарнизонных дел, жило одними думами, тревогами и радостями с отцами и их подчиненными.

По воскресным дням, когда на небольшом, но уютном гарнизонном стадионе встречались футболисты разных полков, мальчишеские страсти распалялись неимоверно: закадычные друзья становились яркими противниками, отчаянно болея за команду своего полка... Но стоило закончиться матчу, как важные ребячьи заботы принуждали их забыть об исходе встречи.

Дело в том, что под домами, казармами, дорогами, даже под наполненными водой рвами в разных направлениях разбежалось потайное хитросплетение подземных ходов. Порой они были такие просторные, что можно было идти по ним не пригибаясь, а то — узкие и с таким низко нависшим сводом, что надо было ползти.

Ходы выводили хозяйничавших здесь новоявленных Робинзонов, мальчишек, в самые неожиданные места: то в гущу леса, что находится в нескольких километрах от крепости, то в огромное подвальное помещение, где от каждого слова сырой плотный воздух начинал колебаться, словно желе, стократ повторяя звук, а то на заросший осокой, скрытый ветвями кустарника берег реки.

Вот почему у нас в такой цене были электрические фонари любых фасонов и размеров. Без них под землей делать было нечего. А мы задумали составить точную карту подземных ходов. Почти каждый день под землю уходили «поисковые партии», вызывая страшнейшее противодействие со стороны всегда консервативных мамаш и бабок.

И не раз какой-нибудь Петька или Васек, услышавший под окном осторожный призывный посвист, вынужден был подскакивать к окну в одних трусиках и, тыча себя пальцем в голую грудь, давал товарищам понять, что он под домашним арестом, испачканная вчера в подземелье одежда стирается, чистая не выдается матерью, чтобы лишить арестанта возможности побега.

Но не только подземная часть крепости интересовала беспокойное и любознательное ребячье племя.

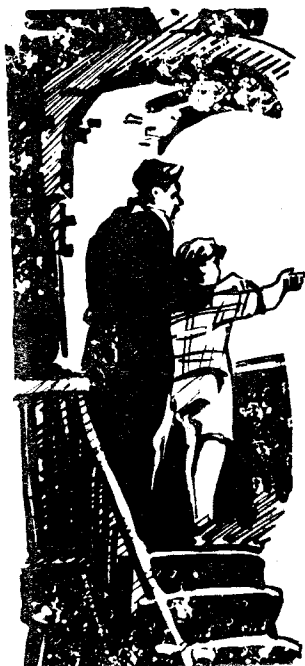
Обследовали мы и надземные строения крепости. Особым вниманием пользовались сторожевые башни и крепостные валы.

С узкими прорезями-бойницами в стенах, к которым вели крутые винтообразные и очень скользкие лестницы, эти башни возносились над крепостными валами, открывая взору далекий пограничный город, к которому от крепости стремилось вымощенное синевато-серыми шестигранными плитами Кобринское шоссе.

С западной стороны были видны ажурные переплетения железнодорожного моста через Буг, по которому взад и вперед сновали маленькие, словно игрушечные, составы.

Дедушка Сережа частенько принимал участие в наших вылазках. Правда, под землю он спускаться не осмеливался, а вот на валы и башни поднимался.

Высокого роста, костлявый старик был не по годам подвижен и гибок. Мохнатые седые пучки бровей и пышные усы придавали ему суровый вид. На самом же деле он был добрейший человек, всегда бравший нашу сторону.



Когда дедушка видел убегавшие на ту сторону границы поезда, он засовывал один ус в рот и принимался усиленно его жевать. Немного успокоившись, он обычно говорил: «Вот же бис, снова Гитлеру хлебушек наш повезли!» У деда были свои счеты с западными соседями: он отвоевал первую мировую, побывал в плену, бежал, присоединился к Красной Армии и вместе с ней гнал немецких оккупантов с Украины.

К Гитлеру и заключенному германо-советскому договору дедушка относился неодобрительно и недоверчиво. Частенько заводил об этом разговор с зятем. Беседа всегда проходила шумно. Дед спорил до хрипоты и обычно оставался непреубежденным.

В такие минуты я тихо сидел на диване, ощущая ласковое прикосновение маминых пальцев, гладивших мои буйные вихры, и, не решаясь встревать в разговоры взрослых, возмущенно думал: «И чего дед так против войны? Вот бы мне попасть на фронт. Я бы показал, как надо драться и ходить в разведку. Это была бы жизнь!»

Все эти споры дед обычно заканчивал одной и той же фразой, обращенной к отцу: «Ученые вы люди, Шариф, политика, говорите, большая, а я сердцем чувую: Гитлер — враг заклятый для русского народу!»

После этого он вставал из-за стола и с видом победителя удалялся в отцовский кабинет. Там дедушка брал томик Клаузевица и делал вид, что читает. На самом же деле, я это хорошо знал, ему быстро надоедал знаменитый военный спец, и дед сперва начинал осторожно подремывать, а потом давал иной раз такого храпака, что отец, читавший в столовой

газету или рассматривавший топографическую карту, кивал в сторону кабинета и говорил матери:

— Что-то наш батя так громко рассчитался, никак в академию Фрунзе надумал поступать!

Наш пограничный город был многонационален: в нем жили поляки, евреи, русские, белорусы, украинцы. Разноречивые толки и слухи брали здесь свое начало и растекались повсюду, достигая порой и крепости. Поговаривали о том, что крупные немецкие части сосредоточиваются на границе, что скоро начнется война. С каждым днем эти слухи становились тревожнее, обрастали немыслимыми подробностями и подтверждались рассказами очевидцев.

Дед все прислушивался к ним, потом вдруг в одно весеннее утро заявил:

— Вечером поеду домой! Умирать, так уж на родной кубанской сторонке.

В тот же вечер, быстро собравшись, дедушка уехал. Провожать его мы ходили всей семьей. Поначалу дед храбрился, а потом не выдержал, смахнул слезу и стал всех обнимать и троекратно по-русски целовать, щекоча своими мокрыми солеными усами, то и дело повторяя:

— Ну, вы тут того, смотрите не скучайте! А Леню на каникулы ко мне. Поняли?

Николаю наказал дослужиться до генерала. Зосе найти хорошего жениха. Так и уехал, оставив всех в недоумении. А в середине мая отец неожиданно, как и многие другие военные, получил отпуск, и они с мамой, оставив меня на попечении Николая, отправились в санаторий, куда-то в Беловежскую пушу.

Крепость принимает бой

Бомбежка кончилась. Оставив Зосю в подвале, мы быстро взбежали по лестнице. Было совсем светло. Там и сям в небо вздымались столбы дыма и пламени, пахло гарью. Над израненной землей висели клубы желтой пыли. Половина нашего дома была разрушена. Чудом сохранилась та часть, в которой мы жили.

Около домов комсостава метались полураздетые женщины, слышались громкие стоны, крики, плач. Мужчин почти не было видно. Ведь полки ушли в лагерь. В крепости оставались лишь мелкие подразделения да некоторые штабы.

И вот тут-то я с глазу на глаз столкнулся с первой смертью, которую принесла с собой война. По дороге медленно шла молодая женщина в белом, испачканном кровью платье. На руках она держала ребенка. Когда мы поравнялись с ней, то остолбенели! У ребенка не было головы, а из горла тянулась тоненькая струйка уже начавшей густеть крови. У женщины дикие, широко раскрытые глаза.

Увидев нас, она улыбнулась и, протянув дитя, сказала: «Покачайте его, он уснет. А мне надо приготовить завтрак. Сейчас Володя с дежурства вернется».

Николай схватил меня за руку и бросился через

дорогу. Задёржись он на несколько мгновений, и, видимо, мне не пришлось бы писать эти строки.

С вала, от реки Мухавец, хлестко ударил пулемет. Женщина жалобно вскрикнула и медленно опустилась на землю.

С чердака соседнего дома в ответ прозвучало несколько винтовочных выстрелов. Затем все смолкло. Был слышен лишь далекий гул артиллерийских залпов.

— Леня, надо быстрее пробираться в наш полк! — сказал Николай и, пригибаясь, побежал по аллее к мосту через Мухавец. Я бросился вслед. Но не успели мы выскочить на открытую дорогу, как с вала, от реки, застрочил пулемет. Николай шарахнулся в сторону и плюхнулся в придорожную канаву. Я скатился за ним. Высовываясь время от времени из канавы, мы увидели, что не мы одни пытались проскочить мост. Но все попытки были безрезультатны!

Ползком, ползком стали мы пробираться к спасительным деревьям, что росли вдоль аллеи, ведущей назад, к домам. Солнце уже поднялось достаточно высоко и здорово припекало. Его палящие лучи проходили сквозь изгрызенные осколками, срезанные пулеметными очередями некогда пышные кроны деревьев. Стволы многих из них были расщеплены, изломаны чудовищной силой, будто спички. Земля стала горячее, и от нее дрожа струился вверх перегретый воздух.

— Сюда, сюда! — замахал нам из окна ближайшего дома какой-то человек. — Быстрее!

Не успели мы добраться до подъезда, как с внеш-

него крепостного вала ударил крупнокалиберный пулемет. Не знаю, то ли от страха, то ли еще от чего, мои ноги заплелись, и я рухнул у самой двери. Из нее выскочили двое и, схватив меня за руки, втащили в спасительный подъезд. Прodelали они это с такой силой и стремительностью, что я долгое время не мог поднять рук. В доме собрались женщины и дети, было несколько тяжело раненных, двое бойцов и политрук. Правый рукав праздничной гимнастерки политрука был почти совсем оторван и кое-как приколот невесть где взятой английской булавкой. На груди поблескивал орден Красной Звезды. Политрука звали Евгением.

На ступеньках лестницы, ведущей с первого этажа на второй, лежали раненные, сидели дети. Сюда не могли залететь ни осколки, ни пули. Распорядилась здесь знакомая моей мамы тетя Паша. Увидев меня, она обрадовалась и, обняв за плечи, стала говорить: «Ничего, ничего, Леня, скоро наши подойдут! Вот только за Лиду я боюсь: как-то ей теперь!» Тут боец с обмотанной кровавой тряпкой головой попытался привстать, но, громко застонав, скатился со ступеней.

— Пить, пить! — шептали его распухшие губы.

Я смотрел на мертвенно-серое, измазанное пылью и кровью лицо с искривленными от мучительной боли губами и ощущал, как омерзительное чувство страха поднимается во мне и заволакивает все внутри.

— Леня! — вывел из оцепенения голос тети Паши. — Пробрерись в какую-нибудь кухню, да осторожней, и посмотри водички.

Я слетел с лестницы и нажал на дверь ближайшей квартиры. Она была на замке. Тогда, прошмыгнув лестничную клетку, толкнулся в другую квартиру. Дверь уступила. Миновав коридор, открыл дверь на кухню. Яркий свет брызнул в глаза. После темного коридора он был так нестерпим, что пришлось зажмуриться. Когда я раскрыл глаза, то увидел, что весь пол покрыт осколками оконного стекла и черепками посуды. Раковина виднелась в дальнем углу. Чтобы добраться до нее, надо пройти мимо окна. Не долго думая, я опустился на пол и пополз. Стекло и острые черепки резали ладони и колени. Миновав окно, приподнялся, поставил подвернувшееся ведро под кран.

Я уже представил себе, как сейчас все обрадуются воде, как меня будет хвалить тетя Паша. Об этом узнают все крепостные пацаны и станут страшно завидовать, а отец, когда разобьем немцев, крепко пожмет мне руку и скажет: «Ты вел себя молодец, Ленья! Как настоящий мужчина! Теперь можешь брать мой мотоцикл в любое время», — и протянет ключ от зажигания.

Кран сердито зашипел, забулькал и, выплюнув несколько капель теплой воды, успокоился. Напрасно вертел я его туда и сюда — воды не было! Я чуть не заревел с досады. Раньше не очень хотелось пить, а тут почувствовал такую нестерпимую жажду, что хоть криком кричи.

— Что делать, что делать?! — схватилась за голову тетя Паша, когда я принес ей эту нерадостную весть. Подобрав подол своей черной юбки, она чуть ли не бегом поспешила на второй этаж, туда, где на-

ходились Евгений, Николай и бойцы. Перескакивая через ступеньки, я побежал за ней.

Не успев отдышаться, срывающимся голосом тетя Паша сказала:

— Без воды не выдержат раненные, без воды мучаются дети! А водопровод не работает.

Бойцы молчали. Лицо политрука покрылось красными пятнами. Он запустил пятерню в свой густой чуб и задумался. Затем, видимо решив что-то, тряхнул головой.

— Надо дожидаться темноты, а там пробираться за водой к Мухавцу. Путь опасный, на валу около реки засели немцы с пулеметами. Но иного выхода у нас нет!

Политрук распорядился, чтобы женщины раздобыли посуду, в которой можно принести воду, а сам с бойцами отправился на чердак. Я не отставал, хотя и боялся, что меня прогонят вниз. Но никто, даже Николай, не обратил на меня никакого внимания. Чердак, куда мы забрались по крутой лестнице, уже не был чердаком в полном смысле этого слова, потому что крышу сорвало взрывной волной. Вместо нее ровная площадка с торчащими печными трубами и обрушенными деревянными балками. Отсюда хорошо видна дорога, по которой мы двинемся к берегу Мухавца.

Первая сотня метров пути идет вдоль палисадников с густыми кустами жасмина, а затем ничем не защищенная полоса земли тянется до высоких валов на берегу реки. На левом засели гитлеровцы с пулеметом. На правом — никого. Чтобы добраться до берега, надо проползти между левым и правым ва-

лом. Сделать это незаметно почти невозможно. Остается одно — попытаться уничтожить фашистов на валу, и тогда путь к воде будет открыт. Сделать это должны Николай и Евгений.

...Итак, было утро первого дня обороны Брестской крепости. Солнце уже поднялось достаточно высоко, в небе, глухо рокоча, проплывали на восток фашистские «юнкерсы». Они отчетливо видны с нашего наблюдательного



пункта. Оружия у нас нет, если не считать пистолета ТТ и браунинга, да кирпичей, в обилии валяющихся повсюду. А ведь мы должны продержаться до подхода наших войск. В скором подходе помощи никто не сомневался. Ни один из нас не мог даже и предположить, что крепость окружена, а наши отступают все дальше и дальше на восток.

Вскоре я пообвык, начал примечать все, что маломальски заслуживало внимания. Меня даже не пугали пули, то и дело вонзавшиеся в печные трубы. От кирпича брызгами разлеталась красная пыль, а Николай сердито кричал: «Ты чего высовываешься! Жить надоело?»

Жить мне совсем не надоело. И я плотнее прижимаюсь к горячему кирпичу печной трубы, всматриваюсь в широкую панораму северной части крепости. Я даже не мог представить, что за несколько часов можно так изуродовать крепость: всюду были груды развалин, над которыми стлался сизоватый дымок, там и сям полыхали пожары. Над Центральным островом, спрятавшимся за двумя горбами валов и отделенным от нас неширокой рекой, висели космы желто-черного дыма; оттуда то и дело доносились приглушенные расстоянием взрывы и беспорядочная стрельба.

Чтобы прорваться в цитадель с нашей, северной стороны, фашистам надо было преодолеть обводные каналы, взобраться на валы, подавить два внутрикрепостных форта: Восточный и Западный и, выйдя к Мухавцу, штурмом взять мост. Задача не из легких. Видимо, поэтому и не осмеливались немцы спу-



скаться с валов в крепость. Их фигурки были отчетливо заметны на фоне ярко-голубого неба. Значит, фашисты выбили наших из недостроенных дотов и дзотов.

Около ворот горела полуторка, захлебывался пулемет. Левее, за дорогой, ведущей от Северных ворот к Мухавцу, хорошо виден подковообразный Восточный форт, выгнутый в сторону Бреста. Около форта сустились бойцы, таща на возвышенность маленькую, словно игрушечную, пушечку.

У противоположных ворот находились казармы 125-го полка. Над ними стлался тяжелый дым, слышались выстрелы и крики. От казарм к подкове Западного форта бежали бойцы. Падали, поднимались и вновь бежали. Весь путь между казармами и фортом был сплошь устлан телами погибших.

Облака пыли, еще час назад застилавшие все, рассеялись. Листва деревьев, трава, кое-где сохранившиеся крыши домов приобрели буроватый оттенок. Казалось, что над землей пронесся самум. На зубах скрипел песок. Лица покрылись серым налетом. Евгений вытащил ослепительно белый носовой

платок и ожесточенно вытер лицо. Платок сразу по-чернел.

Евгений этой ночью вернулся с Волги, где проводил свой отпуск. Он так и не успел добраться до своей части. Его чемоданчик был брошен на первом этаже. Я заметил, как политрук достал из накладного кармана гимнастерки какую-то небольшую фотокарточку и взглянул на нее. Чья карточка — не знаю. Только в глазах его появились теплые искорки, а губы дрогнули.

Один из бойцов, Федор, был контужен. У него дергалась левая щека. Особенно когда он собирался что-то сказать. Федор даже пытался придерживать щеку пальцами, но безуспешно. Щека не слушалась. Он злился, а щека дергалась еще сильнее.

Николай смотрел, смотрел и вдруг предложил:

— Давай я тебе тихонечко врежу по правой щеке. Может, пройдет. Клины клином вышибают!

— Ну вот еще, придумал! — огрызнулся Федя. — Такой мальчик как врежет, так фрицам ничего не останется!

Все засмеялись.

«Жив ли Володя?» — думал я, прислонившись спиной к прохладным кирпичам печной трубы.

Володя Коновалов — мой друг. Сейчас он где-то на Южном острове. Его дом находится рядом с госпиталем. Я мечтал пробраться на Центральный остров, а оттуда через Холмские ворота попасть на Южный и во что бы то ни стало разыскать Володю. Я не знал тогда, что госпиталь уже захватили фашисты.

— Наши! От Кобрина летят! — раздался крик.

Все разом повернули головы на восток, где нахо-

дился Кобрин. Звено краснозвездных «ястребков» было почти над крепостью.

Откуда-то сверху на «ястребков» свалилась шестерка «мессершмиттов». Завязался молниеносный воздушный бой. И немцы и мы молча наблюдали неравную схватку: стремительные, хищные «мессершмитты» бешено вертелись вокруг неуклюжих, похожих на бочонки И-16. Воздушный бой походил на какую-то пляску смерти под голубым куполом неба. Наши «ишаки», так все называли И-16, уступали фашистским самолетам и в скорости, и в маневренности, и в огневой мощи. Поначалу мне казалось, что фашистские пилоты задумали немного поиграть, прежде чем начать настоящую драку. Лишь изредка мы слышали стрекот крупнокалиберных пулеметов да отчаянный рев авиационных моторов, когда истребители круто уходили вверх. Вдруг один из «мессеров» задымил и, выбросив из мотора сноп пламени, начал стремительно падать, разваливаясь на части. Ярко вспыхнул, грудой горящих обломков рухнул вниз и наш самолет.

Два фашиста повисли на хвосте советского самолета. Мы видели длинные ниточки трассирующих пуль, потянувшихся к машине. Неожиданно другой «ястребок», преследовавший врага, резко развернулся и бросился на выручку товарища. Используя свое преимущество в высте, он ловко пристроился в хвост фашисту.

«Ну давай! Жми на гашетки!» — хотелось крикнуть мне. Однако очереди не последовало. Летчик дал газ и пропеллером срубил хвост немца. Тот сразу же начал падать, а наш, задымив, резко пошел на

снижение и вскоре скрылся за лесом. Этот таран мужественного летчика, один из первых в истории Великой Отечественной войны, свидетелями которого невольно стали защитники крепости, сразу стряхнул с нас те путы оцепенения, что принесла так неожиданно ворвавшаяся в нашу жизнь война, развеял мрачные думы, заставил лихорадочно искать возможности действовать и бороться, бороться во что бы то ни стало!

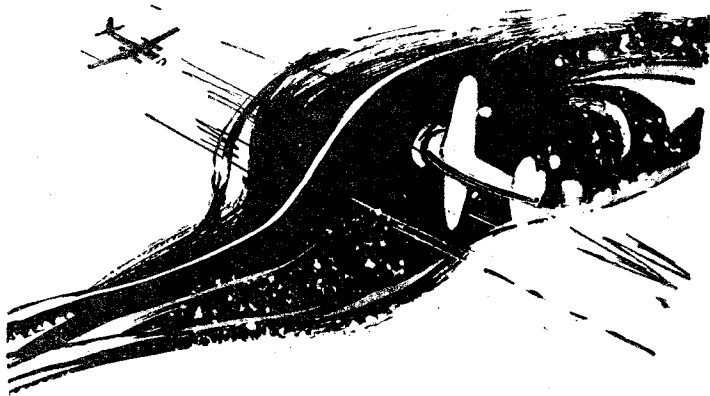
— Да, — ни к кому не обращаясь, вымолвил Евгений, — так погибают русские парни!

— А что же мы сидим, Николай? — добавил он. — Айда вниз! Надо узнать, кто еще есть в соседних домах. А вы ведите наблюдение и ждите нас.

Они отсутствовали около часа. Известия принесли, прямо скажем, не из радостных. Большинство командиров и членов их семей, проживавших в наших восьми корпусах, погибли в первые минуты



артиллера, так и не узнав, что стряслось. Одних завалили обрушившиеся стены домов, других сразили осколки. В одном из крайних домов Евгений с Николаем встретили секретаря партбюро 333-го полка старшего политрука Почерникова с раненой женой. Оба их ребенка погибли...



— Кремень, а не человек старший политрук, — нахмурил брови Николай, — не пал духом! Сколотил небольшую группу, и у них есть оружие. Так что они держат оборону со стороны Северных ворот, а наше дело — западная сторона...

— Что это? — прервал я его, заметив неподалеку от Западного форта какие-то странные серо-зелено-желтые пятна. Они медленно приближались к нашим домам.

— Товарищ политрук, смотрите!

— Фашисты в маскировочных костюмах! — зло выдавил из себя Евгений, и на его лбу прорезалась упрямая глубокая складка... Политрук сразу посуровел и теперь не казался мне таким уж молодым.

— Всем на второй этаж! — коротко бросил он. — Подпускать ближе! Патроны беречь!

Гитлеровцев было десятка два. Они веером рассыпались, беря наши дома в клещи. Это были первые фашисты, которых я увидел. Сердце мое сжалось. Дрожь пронзила все тело с головы и до кончиков пальцев. Я почувствовал, как зубы начинают противно постукивать. Это был страх! Самый обыкновенный животный страх.

Странно, но как только раздался первый выстрел, дрожь сразу прошла, холодное расчетливое спокойствие завладело мною. Я метнул гранату, одно из пятен привскочило, неестественно изогнулось и с нечеловеческим воплем рухнуло на выгоревшую траву.

И тут началось! Автоматные очереди захлестали по окнам. Фашисты поняли, что обнаружены, и, поднявшись во весь рост, бросились в атаку.

— Огонь! — взмахнул рукой Евгений и, прицелившись, спустил курок своего пистолета. Бежавший впереди рослый детина с «вальтером» в правой руке словно споткнулся, осторожно опустился на колени и упал лицом вниз.

«Та-та-та! Та-та-та!» — присоединились автоматные выстрелы из других домов. Но немцы все ближе и ближе подходили к нашим домам.

И тут случилось чудо! Со стороны Северных ворот выскочили три трехосных зеленых бро-

невика. С полного хода они ударили из своих пулеметов и орудий по гитлеровцам. Те бросились враспынную, но мало кому удалось уйти.

Резко затормозив, головной броневик замер у нашего корпуса. Массивная стальная дверца медленно раскрылась, и оттуда легко выбросил свое поджарое тело невысокий молодой человек. На его петлицах виднелись знаки отличия полкового комиссара. Иссиня-черные усики, нос с горбинкой говорили о том, что командир уроженец Кавказа.

Я его совсем не знал и поэтому решил, что это подошли наши. Теперь-то мы зададим перцу проклятым фашистам! Будут знать, как нарушать договор о ненападении и начинать войну с нами, с Советским Союзом!

— Самвел! Ты ли это? — хлопнул полкового комиссара по плечу Евгений. — Смотри, не успела война начаться, а ты с таким повышением. Через неделю маршалом станешь!

Комиссар засмеялся и, горячо жестикулируя, начал рассказывать о Центральном острове. Оказывается, комиссар вовсе не был комиссаром. Это был секретарь комсомольского бюро 84-го стрелкового полка Самвел Матевосян, посланный полковым комиссаром Ефимом Фоминым в Брест, в штаб корпуса. Он должен был доставить туда ценные документы, захваченные у пленных фашистов, узнать обстановку и получить распоряжения, как быть дальше. Фомин и дал Матевосяну свою гимнастерку, для представительности.

Как мы поняли из рассказа Матевосяна, немцы сходу овладели Волынским и Тереспольским укреп-

лениями и ворвались на Центральный остров, захватив церковь и часть помещений 33-го инженерного полка. Однако нашим удалось блокировать Западные ворота и не пропустить к фашистам подкрепления. Большая группа немцев, засевших в церкви, оказалась отрезанной от своих. Но единого центра обороны у защитников цитадели не было. Все надеялись, что скоро подойдут наши и враг будет отброшен за государственную границу. Мы тоже в этом не сомневались.

Нам очень хотелось узнать у Самвела, каким образом мы проникли группы фашистских диверсантов.

— Э-э, дорогой друг! — хмуро ответил Матевосян, положив свою руку на плечо Евгения. — Беспечны мы были, очень беспечны! Пленные, которых мы захватили, в один голос твердят: «К войне готовились долго и тщательно. А накануне войны ночью в крепость заслали лазутчиков и диверсантов».

Так что сейчас трудно разобраться, где проходит линия, отделяющая нас от фашистов. Враг и на крепостных валах и внутри крепости. Все это очень осложняет обстановку и... сдерживает немцев. Они боятся повредить своим группам, находящимся в нашем окружении.

В общем-то сплошной винегрет! А выбраться из крепости мы не смогли: Кобринские ворота zagrożены сгоревшими артиллерийскими тягачами, у Центральных ворот друг в друга врезались и до сих пор горят две автомашины...

Матевосяну так и не удалось закончить рассказ. Всполошились враги. Вокруг засвистели мины. Гость,

не торопясь, пожал Евгению руку, и броневики, обдав нас облаком горького дыма, умчались.

Пока Евгений разговаривал с Матевосяном, бойцы собрали оружие убитых немцев. Операция прошла отлично, и мы стали обладателями целого арсенала: легонькие немецкие автоматы, гранаты на длинных деревянных ручках и пистолеты «вальтер». Это приободрило всех, и мы уже были готовы принять новый бой. К тому же мы теперь знали, что в крепости повсюду образовались очаги обороны. Враг получил отпор на Центральном, Западном и Южном островах и у нас — в северной части.

Вот только не было воды, не было и пищи, но последнее нас мало заботило. Есть не хотелось, а пить — очень!

Время до вечера тянется медленно. Фашисты «успокоились» и больше не спускаются с валов в крепость. Мне кажется, что палящий зной скоро заставит плавиться землю, кирпичи, камни вокруг. О жаре забываешь лишь тогда, когда начинается артиллерийский обстрел или налетают фашистские бомбардировщики. А в перерывах мощные громкоговорители, которые враги установили на крепостных валах, громко призывают: «Сдавайтесь! Сопротивление бесполезно! Всем, кто сложит оружие, германское командование дарует жизнь».

Этого уже Николай никак не может выдержать и, вскакивая, начинает грозить кулаком в сторону валов: «Даруете жизнь, сволочи! Мне ее мама без вас подарила!» И дальше следует отборная брань. Пытаться утихомирить его в это время бесполезно, и все смирились. А Евгений, как только громкоговоритель

произносит: «Сдавайтесь!», смеясь, говорит Николаю: «Ну, Коля, теперь твоя очередь!»

Наконец длинные тени от домов и деревьев поползли на восток. Вскоре оранжевый круг солнца скрылся за Бугом и ночь опустилась на землю. Облегчения она не принесла — душно было по-прежнему. Воздух оставался неподвижным. Десятки немецких прожекторов прорезали тьму. Сотни белых, красных, зеленых ракет расчертили черное небо. Над крепостью метались длинные хвосты желтого пламени, которые бледнели тогда, когда их перерезал ослепительный луч прожектора. Немецкие автоматчики то и дело посылали длинные очереди трассирующих пуль. Эти пули, словно цепочка летящих друг за другом светлячков, медленно тянулись к нам с крепостных валов. Иногда раздавался гул авиационных моторов и высоко в воздухе повисали сияющие шары осветительных бомб. Налет кончался, и вновь воцарялась беспокойная, звенящая тишина. Прислонившись к теплым кирпичам печной трубы, я задре-





мал. Сон беспокойный. Картины быстро сменяют друг друга: то мне снится вода, целое море холодной, вкусной воды; то все заслоняет лицо мамы. Она улыбается и зовет: «Леня, Леня!» Я хочу бежать к ней, вздрагиваю и просыпаюсь. Сразу не могу понять, что творится вокруг. Долго тру кулаком глаза и трясую головой. Наконец соображаю, что меня зовет Евгений. Мы спускаемся с крыши на первый этаж. Здесь женщины, дети и раненые. Даже в дрожащем свете ракет замечаю я, с какой надеждой смотрят они на нас. В их глазах все: отчаяние и надежда, обреченность и ожидание.

— Возьмите оружие, — говорит политрук раненым бойцам.

Мы передаем им автоматы. Теперь они должны охранять женщин и детей. Сборы окончены. Все пятеро, мы стоим около двери парадного подъезда. Там, за кирпичными стенами, каждого из нас могла легко настичь смерть. Даже если мы благополучно доберемся до валов на берегу реки, смерти ничего не стоило встретить нас пулеметным огнем в самый последний момент у Мухавца, и тогда напрасно будут ждать нас тетя Паша, и смешная девчурка Томка с торчащими, словно рожки, косичками, перевязанными огромными красными бантами, и раненые бойцы, для которых вода — жизнь.

— Не бойся, Леня! — треплет меня по голове Евгений. — Все будет в порядке. Мы еще с тобой в футбол погоняем в следующее воскресенье. Дай только немецких гадов отогнать.

— А я и не боюсь, — обиженно бурчу я, хотя на самом деле страшно покидать дом и ползти в кро-

мешной тьме, разрываемой ярким светом прожекторов.

— За мной! — раздался тихий голос политрука, и он первым шагнул в темноту. За ним Николай. Оба вооружены до зубов — за поясом гранаты, в руках пистолеты. У нас троих оружия нет, зато за спиной вещевые мешки с фляжками и бутылками, обернутыми мягкой материей, чтобы не звякали при движении. А оружия нам не надо. Если нас обнаружат, то оно все равно не поможет. Нам надо побольше принести воды.

Я должен идти третьим. С трудом заставил себя оторваться от стены дома и двинуться вперед. Душный, горячий воздух облепил со всех сторон. У меня появилось такое ощущение, словно это не воздух, а вата. Ее нужно разводить руками, чтобы двигаться вперед. С трудом я различил впереди, шагах в пяти, фигуру Николая и, прижимаясь к ограде палисадника, бросился за ним. Сзади слышалось прерывистое дыхание бегущих бойцов. Это придало мне бодрости. Вот и кончились палисадники с жасмином и пахучими цветами. Их аромат перебивал даже горькие запахи гари.

Передохнув, двинулись дальше. Еще метров двести нас прикрывали деревья. Мы осторожно перебежали от ствола к стволу, выбирая такие моменты, когда потухал луч прожектора или гасла повисшая в небе осветительная ракета. Но и эта защита осталась позади. Далее — совершенно открытое пространство, все изрытое воронками. В километре от нас возвышается вал, на котором засели три немца с пулеметом. Если они заметят нас, то конец — перестреляют.

— Держаться ближе друг к другу, — слышу я шепот политрука. — Вперед!

И он, извиваясь своим сильным гибким телом, держа в левой руке пистолет, а в правой гранату, начинает ползти к валу. Николай хлопает меня по плечу, и мы ползем следом. Далекие всполохи разрывов иногда вырисовывают в темноте вал — цель нашего пути, и тогда я отчетливо вижу подошвы сапог Евгения и удивляюсь, почему так ярко поблескивают подковки, будто они сделаны не из железа, а из драгоценных камней. Но вскоре это перестает удивлять меня, и я чувствую, как вещевой мешок с фляжками, о котором я почти позабыл, будто наливается свинцом, становится все тяжелей и тяжелей, придавливая меня к земле. Звонко бьется сердце.

Я пугаюсь, что это громкое биение услышат фашисты там, на валу, и на мгновение замираю. Набираю раз, другой полную грудь воздуха, пытаюсь заглушить предательский грохот сердца, и вновь начинаю ползти. Вначале вытягиваю вперед левую руку, подтягиваюсь, затем с величайшей осторожностью — правую. И так — сотни раз подряд. Мускулы наливаются чем-то горячим, затем начинают деревенеть. Мне кажется, что путь наш ведет в бесконечность и мы ползем уже целую вечность, а я уже не человек, а автомат, который должен по очереди вытягивать то одну, то другую руку и ползти, ползти, ползти...

Когда вспыхивает в небе ракета или пробегает луч прожектора, я привычно, как и другие, замираю, плотнее прижимаясь к земле. В эти мгновения хочется втиснуться в нее поглубже, зарыться словно крот.

Но вот тьма вновь обступает нас, и мы продолжаем свой путь. Каждый из нас знает, что малейшая неосторожность или случайность — по земле замечутся ослепительные лучи прожекторов, и тогда, как бы плотно ни прижались мы к земле, нас обнаружат, и с вала ударит вражеский пулемет.

Всему приходит конец. Пришел конец и нашему пути. Прибрежный вал высокой черной горой неожиданно вырос перед нами, круто уходя вверх. Теперь мы были в безопасности, находясь в «мертвой зоне». Если бы немецкий пулеметчик и начал стрелять, то пули пролетали бы над нашими головами, вгрызаясь в землю метрах в тридцати позади нас. Несмотря на это, Евгений приказал всем забраться в глубокую воронку, чтобы немного передохнуть перед решающей минутой. Если Николай с политруком сумеют незаметно вскарабкаться по крутому склону и уничтожить гитлеровцев, то половина дела будет сделана. Нам троим надо будет как можно быстрее добежать до берега, находящегося метрах в пятидесяти, и наполнить фляги и бутылки бесценной влагой, которую так ждут там, в доме. Ждут ребятишки, о воде бредят раненые, о глотке воды мечтают женщины. Я уже не говорю о том, что нам самим ужасно хотелось пить. Мне кажется, что я отдал бы полжизни за один глоток прохладной вкусной воды.

Евгений с Николаем молча исчезают в темноте. Как долго тянется время?! Мне кажется, что Николай с политруком не возвратятся.

«Раз, два, три...» — начинаю я считать. Дохожу до пятой сотни, и тут где-то над моей головой раздается яростный крик Николая: «На, гады!..»

Взрыв гранаты заглушает слова. Резанули две короткие автоматные очереди, и все смолкает. Затаив дыхание мы замираем на дне воронки. Сверху кубарем скатываются наши товарищи. Они целы и невредимы.

— Ребята, — говорит политрук, — вы давайте быстрее за водой, а мы полезем наверх, соберем уцелевшее оружие.

Я бросаюсь к реке, спотыкаюсь на самом берегу и растягиваюсь на мокром песке, около самой воды. Подтягиваясь на руках, проползаю еще пару шагов и по самую грудь окунаюсь в тепловатую воду. Вода журчит где-то за воротом рубашки, и это журчание звучит для меня самой прекрасной музыкой, которую я когда-либо слышал в жизни. Я поднимаю голову, ощущая, как вода тяжелыми каплями падает с волос, стекая по лицу. Отдуваюсь. Вновь погружаю голову в воду — пью и пью. Мне кажется, что если бы не надо было возвращаться, то я выпил бы весь Мухавец. Вскоре мой живот надувается как барабан, и тут я вспоминаю, что надо набирать воду во фляги и бутылки. Когда все готово, перекидываю тяжеленный вещевой мешок с посудой через плечо и, едва волоча ноги, выбираюсь на берег. Здесь меня уже ждут. Николай забирает мою ношу и вручает мне немецкий автомат: «Бери, а воду понесу я». Он забрасывает мешок за спину, подхватывает правой рукой ящик с трофейными гранатами, и мы, все пятеро, пускаемся в обратный путь...

Радостными возгласами встретили нас в доме, который, как оказалось, мы покинули три часа назад. Женщины жадно схватили воду и, пользуясь корот-

кими вспышками света от разрывов и прожекторов, стали разливать ее в кружки и стаканы. Первую кружку поднесли к губам бойца, раненного в голову. Но он отвел руку с кружкой и прохрипел: «Нет, нет! Вначале детям!...»

Евгений сам взял кружку и, приподняв голову бойца, стал его поить, говоря: «Ничего, ничего! Детям уже дали. Пей, дорогой!»

Первый день войны остался позади.

Брестская крепость выстояла...

Надежды тают

Я проснулся от ласковых лучей только что взошедшего солнца. Зажмурился, в недоумении огляделся вокруг: грязный дощатый настил, весь покрытый обломками кирпичей, засеянный пылью и заваленный кусками сломанных деревянных стропил. Метрах в пяти торчала кирпичная печная труба, а из этой трубы выглядывала живая, невесть как попавшая туда человеческая голова. Вращая огромными белесыми белками, она, эта голова, во весь рот улыбалась ослепительным оскалом ровных, один к одному, зубов.

Воздух был густ и расцвечен запахами: терпким ароматом жасмина, сирени, увядающих роз, еще чего-то горьковатого и необъяснимого. Я вдохнул в себя добрую порцию этой ароматной, упругой и прохладной свежести и почувствовал, как у меня закружилась голова. Сгнав последние остатки сна, я вновь увидел голову со всклокоченной шапкой волос, с черной, будто начищенной ваксой, кожей лица, торчащую над трубой наподобие затычки в графине. То и дело левая щека головы зловеще дергалась.

«Где я? Откуда здесь негры? — тщетно пытался я решить. — Уж не сон ли это?» — тряхнул я головой, но, увидев прикорнувшего рядом Николая, ящик с гранатами на длинных деревянных ручках и

политрука в грязной, изодранной в клочья гимнастерке, на которой инородным телом сиял орден, все сразу вспомнил.

Николай проснулся, разминаясь, сделал несколько взмахов руками и удивленно уставился на черномазую физиономию, торчащую из трубы.

— Ты чего туда забрался, Федор?

— А что?! Все видно и безопасно. Дом рухнет, а труба-то, может, и устоит.

— Тебе теперь не отмыться и за полдня. А уж коли вспомнить про наши водные ресурсы, то лучше записать тебя сразу в африканцы да так черным и оставить! — расплылся в добродушной улыбке Николай. — Вот только не знаю: Гитлер к неграм благоволит? По-моему, не очень!

— А мне на Гитлера плевать, — зло усмехнулся Федор, выбираясь из трубы. — Меня больше жратва интересует да когда наши подойдут. Не можем же мы здесь сидеть до второго потопы.

— Э, брат, куда хватил! — усмехнулся политрук. — Ты разве забыл рассказ Матевосяна? Они пытались по радио связаться с командованием, да ничего не вышло. В эфире на всех волнах слышна немецкая речь да ругань наших летчиков, дерущихся с гитлеровцами.

— Так что, Федя, придется нам сидеть здесь уж если не до второго потопы, — закончил Евгений, — так до первого приказа.

Федор ничего не ответил, вытащил из кармана носовой платок и начал тщательно стирать с лица сажу. Приведя себя в порядок, он, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Я думаю так: если мы голодны, то уж дети внизу давно просят есть! А что им могут дать? Ничего! А ведь жратва есть, и недалеко. — Он указал на противоположную сторону дороги, где под защитой вековых деревьев прятался одноэтажный домик — военоторговый магазин.

— Ну да! — вставил я, удивившись его смелости. — Разве можно вскрывать государственный магазин? Нагорит за это.

Все заспорили. Одни говорили можно, другие — нельзя. Политрук не вмешивался, раздумывая о чем-то. Решившись, ударил кулаком по ладони и отчеканил:

— Голодны дети! Магазин открыть, все продукты передать женщинам. Пусть хозяйничают!

Где-то за северными валами родился монотонный гул. Жирные черточки четко вырисовались на прозрачном горизонте. Черточки плыли и плыли к востоку, неся свой смертоносный груз к Минску, Смоленску, а может, и к Москве.

«Уу-уу-уу», — доносились к нам зловещие надрывные голоса фашистских эскадрилий.

— Да! — уныло проговорил Федор. — Бабка еще надвое сказала — выручат нас или нет. Вон какая силища валит!

— Ты что сказал? — наливаясь кровью, рванулся к нему Николай. — А ну, повтори!

Я испугался за маленького и щуплого Федю, видя, как над ним взметнулся тугой кулачище. Еще миг, и лететь бы Феде прямо с крыши на землю, да подошел политрук.

— Отставить! За самосуд спуска не дам! — впол-

голоса, сквозь сжатые зубы процедил он Николаю. И повернувшись к Федору: — Подобные же разговоры буду расценивать как предательство, а виновных, как только подойдут наши, — в трибунал! стыдно, товарищи, стыдно! — добавил он более спокойно. — Вчера оба со смертью в прятки играли, а сегодня — в драку! Нехорошо!

— Да я, того, так брякнул, — оправдывался Федя, — а он — с кулаками!

— Ну его! — махнул рукой Николай. — И так тошно! А тут с дурацкими шуточками...

Инцидент был исчерпан, и мы, пользуясь тем, что вражеские пулеметчики досматривали короткие солдатские сны, направились к магазину. Нам надо было выйти через парадный вход и осторожно переползти дорогу. А там мы уже были под защитой стен.

Выломать железную скобу вместе с большущим висячим замком и болтающейся на нем пломбой было делом нетрудным. Через пару минут мы уже в душном полумраке, пронизанном запахами копченой колбасы, брынзы, прогорклого масла, табака и мыла.

Странно, но припасы, которые мы принесли из магазина, вовсе не обрадовали женщин. Никто даже не притронулся к колбасе и печенью. Только Томка радостно схватила большущую плитку шоколада и стала сосредоточенно ее жевать. Покончив с плиткой, размазывая коричневую массу по мордашке, она захныкала и начала приставать к матери: «Пить хочу, хочу пить!»

— Ой, горе ты мое! Что же с тобой делать? —

начала тихонько причитать молодая женщина, подолом платья вытирая дочурке щеки.

— Тетя Паша! — попросил Евгений. — Дайте девочке полстакана воды из НЗ.

Вернулся Николай с бойцами. Вторым заходом они принесли рулон бязи, а Федор зачем-то прихватил патефон с пачкой пластинок.

Тетя Паша тут же оторвала метра два материи и опустилась на колени около раненого бойца, намереваясь сменить ему повязку на голове, вдруг вскрикнула и зарыдала. Я подошел к ней и, взглянув на раненого, попятился. Даже в полумраке разглядел я его лицо с широко раскрытыми глазами, с навечно застывшей в них безмерной тоской и ужасом, заострившимся носом. И тут до меня дошло — это смерть! Она здесь, совсем близко, рядом. Просто случай заставил ее пройти мимо меня, мимо Николая, мимо девчурки Томки. И кто знает, может, уже погиб мой друг Володька, нет в живых и моих родителей? Страх обуял меня, и липкий холодный пот выступил на лбу.

В этот короткий миг второго дня оборона я полностью ощутил, что война не имеет ничего общего с тем, о чем пишут в книгах и показывают в кино. Война — это неизмеримо более страшная и, увы, жуткая действительность. Война не жалеет ни малого, ни старого, ни больного, ни здорового. Ей все равно! И от этого я показался сам себе какой-то маленькой песчинкой, подхваченной бешеным порывом военной бури. Как я завидовал Томке, прижимавшейся к своей матери, как мне было обидно, что я остался один и, может быть, больше никогда

никогда не увижу дорогого маминого лица, не услышу ее милый голос, так часто укорявший меня: «Подожди, вот не станет меня, пожалеешь!» Не почувствую прикосновения горячей отцовской руки к моим жестким вихрам, не поймаю в трудную минуту его ободряющего взгляда.

Я оцепенел, глядя, как Николай с бойцами вначале накрыли тело умершего куском материи, а затем, поговорив о чем-то, запросто взяли мертвого за руки и за ноги и вынесли из подъезда.

Из оцепенения меня вывел чей-то мощный голос. Он загремел откуда-то сверху и напомнил мне бабушку Анфису с ее сказками об архангеле Гаврииле, трубившем в чудесную трубу. Звуки эти ширились и росли, заполняя все вокруг:

«...германское верховное командование требует прекратить сопротивление и сложить оружие. Сдавшимся даруется жизнь! На размышление тридцать минут. В противном случае крепость будет стерта с лица земли, а ее защитники — уничтожены».

Прекратить сопротивление! Осталось двадцать восемь минут. Двадцать шесть. Двадцать пять... Двадцать...

Женщины подхватили ребятишек, бойцы — оружие и припасы и по команде политрука покинули дом. Он был чересчур ненадежным пристанищем и в любую секунду мог превратиться в такую же пустую коробку с провалившимися потолками, как и соседние дома, ставшие большими братскими могилами офицеров и их семей. Лишь немногим обитателям наших корпусов удалось выскочить из рушившихся и пылавших зданий и притаиться в глубоких подвалах,

находившихся около каждого дома. Мы разместились в одном из таких подвалов. Шустрый Федя притащил сюда свой патефон и начал накручивать ручку пружины. В углу свалили съестные припасы. словно по уговору, все делалось быстро и без единого слова. На лицах людей можно было прочесть все, что угодно: злость, решимость, озабоченность, но нельзя было увидеть страх или растерянность. Даже дети и те перестали хныкать и теревить матерей.

Вместе с нами в подвале набралось человек двадцать. Женщин и детей поместили в самый дальний угол. Автоматы и гранаты сложили около ступенек. Все знали: как только закончится бомбежка, враг вновь спустится с валов и попытается захватить дома комсостава, преграждавшие ему путь к берегу Мухавца, а значит, и к Центральному острову цитадели.

А над всей крепостью с бесстрастностью метронома гремел металлический голос:



— Двадцать минут! Пятнадцать минут! Восемь минут!

— Прекратить сопротивление! Сложить оружие!

— Пять минут! Три минуты! Две...

Густой гул возник где-то за Бугом и стал неумолимо наплывать на крепость. Он рос, ширился, заглушая последние слова диктора, заполняя все собой. Как по команде, все подняли головы вверх, но взгляды уперлись в потолок подвала, едва различимый в полумраке. Он был единственной надеждой и защитой, от его прочности зависела теперь наша жизнь. Николай захлопнул толстенную дверь, и полный мрак



окутал нас. Мне показалось, что оборвалась последняя тонюсенькая ниточка, связывавшая собравшихся здесь с жизнью, светом, воздухом, зеленью травы и деревьев, что все это осталось далеко-далеко, где-то там и больше никогда не вернется.

Люди притаили дыхание, ожидая... И вдруг Федин патефон:

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов...

Торжественно и спокойно звучали во тьме мужественные, зовущие к борьбе слова «Интернационала». Их подхватил женский голос, откликнулся мужской, и вскоре дорогая для каждого из нас мелодия загрела в подвале. Люди пели слаженно, не торопясь, и в этом гордом напеве потонули первые разрывы бомб. Земля заходила под ногами, на головы то и дело сыпался песок, и появилось такое ощущение, будто под нами днище лодочки, пляшущей на бешеных волнах.

Захватывая побольше воздуха, я выводил как можно громче:

Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов!

Наверху бушевал ураган огня и металла.

Это есть наш последний и решительный бой...

«Трррах! — рвануло совсем рядом. — Тррах!» Пол подскочил, будто норovia взлететь. «Тррах — тани!» Огонь плеснул в вышибленную чудовищной силой дверь, едкий запах сгоревшего тола пронзил воздух, взрывы заклокотали рядом, норovia ворваться

в наше убежище. Дверь повисла на нижней петле, но следующий фугас неистово сорвал ее, и клубы пыли, дыма хлынули в подвал.

Дальнейшие события перемешались в сознании затейливой и ужасной мозаикой: атаки, лица, грохот, пожары, тишина, смерти. День сменялся темнотой ночи, разрываемой блеском прожекторов. Глаза умиравших от ран и жажды были устремлены в одну, только им известную точку и будто вспоминали дорогие сердцу последние картины уходящей жизни. Вдруг наступала такая мертвая тишина, что стрекот кузнечика отдавался в ушах пулеметной очереди. Тишина взрывалась грохотом бомб, треском пожарищ. Надрывная ругань по-русски и по-немецки — это сходились в рукопашную с врагом последние защитники крепости. Крупинки прошлого, стократно помноженные на усилия памяти, возрождают отрывочные, не связанные друг с другом суровые картины.

Вражеских автоматчиков я увидел, передавая Николаю не докуренную Федором козью ножку. В проломе двери могли уместиться только двое — так он был узок. Политрук и Коля, прижавшись друг к другу, смотрели на дымившиеся развалины дома, который верой и правдой служил нам кровом в первую ночь войны. Битый кирпич, искореженные тавровые железные балки, бледные языки пламени да уцелевший левый угол здания, словно утес, круто уходящий вверх, — вот и все, что от него осталось. Из-за этого угла крадучись появились, прислушиваясь и озираясь, гитлеровцы. Их черные стальные каски были украшены веточками сирени, рукава темно-зеленых френчей, закатанные по локоть, обнажали загорелые,

мускулистые руки, цепко державшие автоматы. Рас-
трубы широких кожаных сапог были перепачканы
грязью и известкой, а из них торчали гранаты, засу-
нутые ручками вниз. Шедший впереди здоровенный
детина остановился, внимательно огляделся вокруг и
махнул рукой, зовя остальных. Показалось еще че-
ловек восемь. Они сгрудились и начали что-то обсуж-
дать. Верзила снял каску, и ветерок затеребил его
редкие черные волосы, расчесанные посредине лба
на прямой пробор. Затем он неторопливо полез в пра-
вый карман брюк, вытащил яркую блестящую пачку
сигарет, подцепил сигарету зубами, перекинул
автомат за спину и щелкнул зажигалкой. Но заты-
нуться ему так и не пришлось! Одну за другой Евге-
ний метнул две гранаты, а Николай полоснул длин-
ной очередью.

...Тишина... Где-то на востоке лениво переговари-
ваются пушки. Их голоса приглушены расстоянием.
Фронт ушел далеко. Воды нет ни капли. Дети бредят.
Евгений, весь обросший колючей рыжей щетиной,
горячо убеждает тетю Пашу идти с женщинами
в плен.

— Да поймите же вы наконец, — сердится он, —
мы солдаты, и вы для нас — обуза! Разве вам
не жалко детей? — прибегает он к последнему до-
воду.

Женщины плачут, но покидать подвал наотрез от-
казываются. Тогда политрук осторожно берет на
руки мальчика лет трех. Его глазки закрыты, обме-
танные губы что-то беззвучно бормочут, но видно —
ребенок уже не жилец. Обезумевшая мать только
протягивает к сыну руки, ни говоря ни слова.

— Вот что! — почти кричит политрук. — Или я сам пойду с ребенком, или вы выполните нашу просьбу. В конце концов я приказываю вам!

Подняв над собой грязно-серую тряпку, жены командиров гуськом, поминутно оглядываясь, тихо движутся к северным валам.

Все молчат. Взгляд Евгения падает на меня: «А ты почему не пошел?!» Он свирепо надвигается на меня всем своим сильным телом. Я в испуге пачусь и вдруг, сам не знаю почему, опускаюсь на колени и, уцепившись обеими руками за левую ногу Николая, прижимаюсь к ней и начинаю громко плакать. Большая горячая ладонь опускается мне на голову и начинает трепать вихры. Помягчевший голос произносит: «Ладно, ладно! Хватит, довольно. Ведь ты мужчина!»

— Пусть остается с нами! — вступает за меня Федя. — У тех хоть матери есть, а он считай что горькая сирота! В этакой заварухе затеряется что иголка в стоге сена пропадет.

...Огромные голубые глаза. Больше я не вижу ничего. На ресницах — прозрачная, сверкающая в лучах заходящего солнца слезинка. Вот она сорвалась и медленно поползла по щеке, оставляя на ней грязную дорожку. Евгений умирает. Лицо бледное-бледное, совсем серое. На лбу капельки холодного липкого пота. Их вытирает рукавом гимнастерки Николай. Прерывистое дыхание с клекотом вырывается из груди. Розовая пена пузырями выступает на распухших губах Евгения.

Политрук смертельно ранен противотанковой гранатой; осколок вспорол живот, другой застрял



в легких. А все получилось так. Федор пополз к убитым фрицам, надеясь поживиться у них патронами и табачком. И в этот момент на него из-за густых кустов навалились трое немцев. Силы были явно неравные, и Федя, видя, что иного

выхода нет, все же умудрился выхватить чеку у гранаты как раз в тот момент, когда к нему на выручку кинулся Евгений, а за ним Николай. Противотанковая граната постаралась: от Феди и от фашистов остались лишь рваные куски мяса да смоченные кровью тряпки, разметанные взрывом.

А политруку досталась изрядная порция горячего металла да минут пять, не более, жизни. Его сильное, совсем недавно полное энергии тело вытянулось, и от этого он казался мне еще больше. Евгений не желал умирать, по телу пробегали конвульсии, спекшиеся губы пытались, когда он на мгновение приходил в себя, что-то сказать.

— Ми... ми... милая... — больше понял я по движению губ, чем расслышал. — Пить, пи...

«Он хочет пить! Вода спасет! — пронзила меня мысль. — Вода — это жизнь! Как я позабыл об этом?»

Не давая себе отчета, не слушая дикого окрика Николая: «Ленька, назад!» — весь переполненный одним неудержимым порывом — достать воды, я схватил фляжку и опрометью бросился к реке мимо Николая, пытавшегося меня схватить за шиворот. Хлестнула очередь, другая. Просвистела мина. Столб пламени взметнул землю где-то сбоку от меня, еще и еще. Упав на землю, прикусив губы, я полз и полз к реке, совсем не думая о смерти, охваченный чувством жалости, злобы и упрямства. Мозг мой сверлила одна мысль: «Добыть воду! Воду, воду!..»

Вот и река — широкая и неторопливая. Зубами прихватив алюминиевую пробку, безуспешно пытаюсь повернуть ее. Сердце



в бешеном темпе отсчитывает каждую уходящую секунду. Наконец пробка подалась, и воздух, забулькав, уступает место воде. Тут только до меня дошло: ведь я позабыл вкус воды! Отхлебнув из реки раз, другой, услышал, что бульканье во фляжке прекратилось. Плотнo завернув пробку, выбрался на песчаный берег и двинулся к проходу между валами, тому самому проходу, по которому мы ползли в первую военную ночь. «И я, и Евгений, и Николай, и все те, кого уже нет и никогда не будет... — с горечью подумалось мне. — Как давно это было. Целая вечность прошла!»

Прозрачные вечерние сумерки уступили место ночи. Запылали звезды. Впереди утесом вознесся ввысь уцелевший угол нашего первого убежища. Там рядом были Николай и, быть может, еще живой политрук. Оставалось метров двести, не более. И тут, устрашающе шипя, в воздух взметнулась ракета. Ее мертвый синеватый свет залил окрестности. С вала ударил сноп прожектора. Прижавшись к земле, я застыл. Взвизгнули пули:

«Ввиу, ввиу! — И ближе: — Вжии, вжии!»

В тот же миг на меня кинулся какой-то косматый фиолетовый зверь, схватил в свои могучие объятия, со страшной силой стукнул по голове и подбросил над землей.

Прорыв

Тело мое легонькое, будто пушинка, и я всплываю со дна реки, рассекая воду быстрыми взмахами рук.

«Почему такая темнота? — удивляюсь я, пытаясь что-то разглядеть впереди, но, кроме черно-серых пляшущих силуэтов, ничего не видно. — Надо бы взять повыше! Там будет свет и солнце».

Удваиваю усилия и что-то есть мочи рвусь ввысь, бешено загребая ладонями что-то упругое. Губы ощущают прохладу, я делаю еще усилие — приятный холодок передвигается на лоб. Последние метры пути, и пальцы мои сжимают горячее и мягкое.

— Положи тряпку на сердце! — слышу я откуда-то издалека и сверху. С трудом поднимаю веки. Они будто из свинца. Режущий свет вбивает маленькие гвоздики в веки и закрывает их. Я вновь ныряю, куда не знаю, но упорно загребая и загребая под себя какую-то пружинистую, светящуюся черноту.

Рванувшись, я хочу убыстрить свой подъем, но чьи-то ласковые и сильные руки не пускают меня, уговаривая: «Лежи, лежи». Раскрыв глаза, вижу каких-то людей, снующих взад и вперед, и никак не могу вспомнить, как я попал сюда. Надо мною склонилось незнакомое женское лицо, испачканное сажей,

с растрепанными каштановыми волосами. Женщина осторожно прикладывает к моему горячему лбу мокрую тряпку. Рядом с ней стоит на коленях человек с удивительно знакомыми чертами лица. Гимнастерка у человека разодрана. Увидев, что я открыл глаза, он радостно улыбается и говорит: «Ну вот, слава богу, пришел в себя!»

А я все напрягаю и напрягаю память, пытаюсь разыскать в тайниках своего мозга ответ: «Кто он, этот человек?»

— Леня, Леня! — говорит незнакомец. — Как ты себя чувствуешь?

Я таращу на него глаза, не понимая, откуда он знает мое имя, кто он. Затем перевожу взгляд на массивные кирпичные стены с покатыми сводами над головой, на маленькие окна-бойницы, сквозь которые на грязный пол падают потоки солнечного света. Какой-то склеп, а не комната!

— Леня, ты что, не узнаешь меня? — спрашивает человек. — Ведь это я, Николай! Ординарец твоего отца.

Так я возвращаюсь к жизни: лоб покрывается испариной, а руки становятся холодными как лед. Мне кажется, что еще мгновение, и я вновь потеряю сознание, но теперь уже навсегда. Так не хочется, так страшно умирать!

Евгения больше нет. А меня Николай разыскал неподалеку от наших домов, засыпанного землей, едва подававшего признаки жизни. Взяв на спину, он ползком двигался к Кобринским воротам, надеясь как-нибудь выбраться из крепости. Когда перебрался через дорогу, ведущую с Центрального острова к Се-

верным воротам, его обнаружили. Три прожектора прижали его к земле, да повезло — неподалеку оказалась глубокая воронка, где Николай и отлежался. Пулеметы перестали тарыхтеть, прожекторы погасли, и Николай продолжил путь. Неподалеку от ворот встретил группу бойцов из разных полков.

Вскоре я полностью оправился от контузии. Из рассказов Николая, со слов других бойцов я понял, что группа, к которой мы примкнули, хочет с боем прорваться из окружения и уйти в густые белорусские леса. Тогда-то я и вспомнил про те подземные ходы, что мы с ребятами обследовали перед самой войной. Ведь под крепостью, под ее казематами и валами в разных направлениях разбежались подземные потайные ходы. Один из них начинался неподалеку от Кобринских ворот. Я сказал об этом Николаю. Только, добавил я, необходим фонарик, и пробраться смогут лишь те, кто продержится две-три минуты под водой.

Охотников оказалось человек восемь. Группу возглавил пожилой седоволосый командир без знаков различия в зеленых пограничных петлицах. Знаю только, что он был не из нашего полка и в район Восточных ворот прорвался с Центрального острова. Слышал от бойцов, что этот сухопарый высокий командир брал Зимний и работал вместе с Дзержинским. Впрочем, в те памятные жаркие дни мало кто спрашивал: «Откуда, как звать?» Главное — ты свой, советский?! Правда, Николай сказал мне — командира звать Иван Петрович и что он приехал в крепость перед самой войной по делам службы.

В середине ночи Иван Петрович, наклонившись надо мной, ласково сказал: «Вставай, мальчик, пора!»



— Меня звать Ленькой! — недовольно отозвался я, поднимаясь с кирпичного пола, на котором отлежал все бока. — А электрический фонарик есть? А то там страсть как темно!

— Ничего не поделаешь, — развел руками командир, — обойдемся без фонаря! Прихватим паклю, смоченную в автоле.

Мы покидаем каземат. Теперь надо переползти дорогу у домов комсостава, что стоят неподалеку от Кобринских ворот, а затем свернуть влево, к берегу Мухавца. Метрах в двухстах от реки и начинает-

ся подземный ход. Он замаскирован большущим камнем и густыми зарослями высокой полыни.

Ущербный серп луны еще не взошел. Темень — хоть глаз коли. Даже пожары, что полыхали над крепостью в первые дни обороны, погасли. Сгорело все, что могло гореть. Притихли на валах фашисты. Им спешить некуда. Зато нам есть куда торопиться. Стараясь сохранить силы, мы ползем. Справа от себя я слышу сопение Николая, слева тяжело дышит Иван Петрович. За нами движутся остальные. Вот и валун.



— Здесь! — шепчу я, засовывая пистолет и гранату за пояс, и на четвереньках вползаю в лаз.

Навстречу пахнуло прелью, потянуло влажным воздухом, какой обычно бывает в глубоких, долго не открывавшихся подвалах. Кругом полнейшая тишина. Вскоре отверстие расширилось, наклонно уходя вниз. Приподнялся. Вначале на колени, затем во весь рост. Прижался спиной к холодящему глинистому грунту. В левую руку взял пистолет.

Прислушался. Мертвая тишина ожила. Где-то далеко-далеко впереди раздавалось приглушенное жалобное сопение. Казалось, что там вздыхает о дневном свете какой-то огромный, но добрый зверь.

Почему-то вспомнилась зачитанная до дыр «Аэли-та». Я даже улыбнулся, представив себя на месте Лосева, спешащего на выручку к Аэлите, спрятанной жестоким Тускубом где-то в потаенных подземных пещерах. За какие-то неуловимые доли секунды вновь прочувствовал все то, что пришлось пережить в таком далеком, но, увы, ушедшем детстве. Вспомнились расширенные от ужаса зрачки Володьки, когда я начал читать о последнем поединке Лосева с марсианами.

Но враг, ожидавший нас впереди, не шел ни в какое сравнение со слабыми обитателями Марса. Он был силен, безжалостен и опытен. Кто-то подал Ивану Петровичу пучок пакли, смоченной в масле и укрепленной на проволоке. Щелкнула зажигалка. Ударил желтый свет. Хлопья копоти заносились во влажном воздухе. Вдруг у меня из-под ног сорвался камень. Мгновенно подался назад.

Отдышавшись, продолжал спуск. За мной гуськом двигались остальные. Впереди мелькнула сероватая полоска. Дорога стала ровной. При неясном прыгающем свете факела различили небольшую пещеру.

Метрах в ста виднелась темная каменная стена. В гроте Тускуба — так про себя окрестил я эту пещеру — было пусто. Лишь более явственно слышались жалобные вздохи: «У-ух! У-ух! У-ух!..»

Прижимаясь к каменной стене, мы двинулись дальше. Пещера кончилась. Черная, напоминавшая нефть вода лизала камень, издавая мерные глухие звуки.

— Вот и пришли! — сказал я, ни к кому не обращаясь.

— Да, но где выход? — в сердцах вымолвил кто-то. — Надо поворачивать назад. Дальше пути нет!

— Как нет! — вскричал я торжествующе. — Мы тоже так думали раньше, да потом оказалось, что есть. Надо нырять прямо под скалу. Там выход. Проход узкий, метра четыре в длину. Надо просто плыть туда, где есть проход, — и все!

Все опустились на гранитный пол. Усталость брала свое. Руки и ноги налились чем-то тяжелым, стали непослушными. Я прилег на холодный гладкий камень. Протянул руку и ладонью зачерпнул воду. Затем наклонился и приник к воде всем ртом. Я пил и пил эту вкусную влагу и чувствовал, как усталость оставляет меня. Отдышавшись, я первым опустился в воду. За мной Николай. Следом — Иван Петрович. Тысячи холодящих иголок вонзились в тело. Придерживаясь одной рукой за камень, стал другой мед-

ленно шарить под водой, продвигаясь вдоль стены. Потом опоры не стало и пришлось обследовать стену вплавь. Вот и проход: ноги потянуло куда-то в сторону, а затем отбросило назад. Под сводами пещеры вновь раздалось протяжное «У-ух!..».

— Здесь проход, — сказал я и, глубоко вздохнув, нырнул. Рука ощутила отполированную водой кромку отверстия. Оно уходило под стену, преграждающую пещеру. В ушах звонко застучала кровь, требуя кислорода. Но тут каменная стена кончилась. Вынырнул. Со всех сторон окутала плотная тьма. Ухватился за камень и, подтянувшись, вылез. Вскоре вынырнул Николай. Отфыркиваясь, он устало свалился на камни. Вода звонко стекала с него. Вынырнула еще одна черная фигура, за ней другая. Я их почти не видел, только слышал по всплескам и тяжело-му дыханию.

Зачиркала зажигалка. Раз, другой. Желто-грязное, потрескивающее пламя подмокшей пакли заплесало по стенам, отбрасывая смешные тени, то и дело менявшие свои очертания. Бойцы разделись, выкручивая мокрую одежду, выливая воду из сапог. У кого-то даже заклацали зубы, и он выругался: «Прохладненько здесь, не то что наверху!»

— Подожди! — ответил Иван Петрович. — Скоро жарко станет.

Теперь наш путь уходил круто вверх, постепенно сужаясь. Вначале шли пригибаясь, затем встали на четвереньки, а последние десять метров пришлось преодолевать ползком. Теперь впереди был Николай, за ним — командир. Острые камешки резали мне руки, срывались вниз, и тогда их бег напоминал гор-

ный камнепад. За мной кто-то чертыхался, сопел, и из-под него тоже летели камни.

— Тише, вы... — шепчет откуда-то сверху Николай. — Уже светает.

Наш маленький отряд бесшумно, не сломав ни веточки, выбирался на крутой склон, весь заросший густым кустарником. Серая пелена занимающегося утра скрывает стволы деревьев там, где-то внизу. Нам видны лишь их густые неподвижные кроны. Прямо за нашими спинами, на вершине вала, за невысоким бруствером, метрах в двадцати-тридцати, примостились вражеские пулеметчики. Укрывшись с головой шинелями, они мирно спят, подложив под головы автоматы. Трое дозорных негромко ведут беседу, и мы видим, как то и дело вспыхивают яркие точки их сигарет. Слева от нас, внизу, должно проходить Кобринское шоссе, выложенное восьмигранными плитами, приобретающими в солнечный день сизоватый оттенок. Если забрать вправо, то там никаких дорог нет, а вдоль реки — густые заросли бурьяна, кустарника и деревьев. Река вытекает из непроходимых лесов, где нет и не может быть фашистов. Главное — добраться до этих лесов. Но как? Осторожно, так, чтобы не треснула ветка под ногой, спуститься с вала невозможно. Дозорные обязательно обнаружат нас, и тогда заговорят, захлебываясь, пулеметы, вспыхнут осветительные ракеты, и... смерть или плен обеспечены.

Иван Петрович махнул рукой, подзывая нас, и прошептал:

— Как только рванут гранаты, всем рассыпаться веером и продвигаться к Мухавцу. Сбор

в трех километрах, вверх по реке. Думаю, пока гитлеровцы придут в себя, мы уже будем далеко...

— Давай! — прозвучала команда.

Вместе со всеми я бросился вниз. За спиной рвануло, послышались стоны, крики проснувшихся, ругань. Я летел сквозь кусты, не разбирая дороги, а вверху враги, уже опомнившись, стали слать нам вдогонку длинные ав-



томатные очереди. Вспыхнул прожектор, безуспешно пытаясь пробить предутренний туман и густоту кустов. Бухнул миномет, ему ответил другой... Ветви хлестали меня по лицу. Вдруг меня резко ударило по ногам, я ткнулся лбом во что-то твердое, из глаз посыпались искры, и...

Первое, что я услышал, придя в себя, была немецкая речь. Надо мной склонились фашисты. Один из них, длинный и костлявый, без пилотки, держал в руке мой браунинг. Затем он громко захохотал, обнажая гнилые редкие зубы, и, ткнув меня дулом автомата в ребро, приказал: «Русиш! Коммунист! Шнеллер, шнеллер!»

Его спутники тоже засмеялись, но не надо мною, а над костлявым. Я немного знал немецкий и понял: они подзадоривали неприятного типа, державшего мой браунинг, высказывая разные предположения о возможной награде за мою поимку: «Конечно, паренек — советский разведчик!»

Я клял дуб, так некстати выросший на моем пути, и думал: «Удалось нашим уйти или не удалось?» Мысль об этом заставила меня более внимательно прислушиваться к солдатскому разговору. Я понял, что солдаты обсуждают утреннее происшествие на Кобринском валу. Они думали, что кто-то хотел пробиться в крепость, но был отброшен смелой контратакой.

«Ну что ж, — вздохнул я облегченно, — отброшен так отброшен. Значит, наши ушли!»

Сознание того, что мои старшие товарищи вырвались из окружения и сейчас далеко, наполнило меня радостью, притушило чувство страха. На время я да-

же забыл, что меня взяли в плен, быть может, бросят в концлагерь, будут пытаться, а то и расстреляют. Ведь костлявый злорадно заявил: «Коммунист! Капут!»

Предположения мои не сбылись. Не оправдались и надежды костлявого солдата, доложившего о моей поимке толстому офицеру. Офицер одной рукой невозмутимо намыливал обросшую черной щетиной щеку, а в другой держал телефонную трубку полевого аппарата и о чем-то, посмеиваясь, разговаривал. Положив трубку, он, так же не торопясь, добрился, вытер полотенцем лицо и, крикнув, начал усиленно массировать его. Покончив со столь важным делом, офицер, коверкая русские, польские и немецкие слова, спросил: «Поляк? Юда? Русиш?»

Тут я не выдержал, зашмыгал носом и, припомнив все знакомые мне польские слова, стал доказывать, что я местный, а около крепости очутился в поисках стреляных гильз. Офицер, видимо, понял и вновь снял телефонную трубку. Связавшись с военной комендатурой, он стал допытываться, как ему быть. Что ему ответили, не знаю. Офицер подозвал костлявого солдата, что-то написал на листке блокнота, вручил его моему конвойному и неуклюже полез в штабную машину. Костлявый зло выругался и, взяв автомат наизготовку, ткнул мне в спину.

Я понял: куда-то поведут. Но куда?!

Плата за страх

В противоположном углу затхлого помещения, под самым потолком, в каменной толще стены было врезано маленькое квадратное оконце, крест-накрест затянутое толстыми железными прутьями. Солнечные лучи не могли, как бы они ни старались, пробиться с воли в затхлый сумрак. Сами прутья едва различались на темном фоне дубового щита, нависшего снаружи, как раз напротив окна. Взгляд невольно скользил вверх, выискивая для себя другие пути на волю — к воздуху, к небу, к солнцу. И он находил его под самым потолком: это была узкая щелочка между щитом и стеной, сквозь которую проблескивала яркая синь неба с пенистыми облачками.

Еще пару часов назад у меня не было ни минуты для раздумий. Зато теперь я мог, сколько хотел, вспоминать промчавшиеся с головокружительной быстротой события минувших дней, прибавлять к ним по своему усмотрению яркие краски. В горле першило, губы потрескались и горели, будто их намазали горьким красным перцем. Эта жгучая боль вдруг с поразительной живостью напомнила мне дальневосточные сопки, покрытые кудрявым густым кустарником, тенистые пади, расцвеченные лиловыми, пунцовыми, синими, белыми, желтыми лепестками цветов и напоминавшими собой огромный разно-



цветный ковер. Там мы жили много лет назад, еще до хасановских событий, когда я только собирался в школу. Жили как настоящие кочевники, только вместо кибиток у нас были зеленые брезентовые палатки, вбивавшие в себя весь жар беспощадного дальневосточного лета. Да и падь звалась Кочевой.

Было это в один из дней, когда весь наш палаточный городок готовился встретить героя гражданской войны, главнокомандующего дальневосточной армией маршала Блюхера. Дорожки между палатками были посыпаны невесть где раздобытым желтым песком, бойцы и командиры надели парадную одежду. И толь-

ко полковая малышня продолжала жить прежними заботами. Мы лазили повсюду, где нужно и не нужно. Не успел худущий, похожий на Дон-Кихота повар с длинным, как сучок, носом зазеваться, как мы стали обладателями целой связки пунцового, блестящего, словно покрытого лаком, перца. С гиком носились мы с этим перцем, будто со славным трофеем, не ведая о страшном подвохе со стороны таких красивых на вид стручков и о той каре, что ждет нас впереди.

Близилось время встречи. Мамаши кликнули нас в палатки и начали дочиста мыть нам лицо, шею и уши. Тут-то и началось! Под пологом одной палатки родился и вырвался наружу дикий вопль, напоминавший воинственный клич индейцев, идущих в бой. Бросивший этот клич не остался в одиночестве: отозвались дружки из других палаток. Я в этот момент усердно тер лицо и вдруг почувствовал, что глаза и уши мои прижигают каленым железом. Я так завизжал, что мама в испуге отпрянула от меня.

Ягунов, командир нашей части, человек порывистый и неуравновешенный, поспешил к комсоставским палаткам, на ходу отпуская крепкие словечки в адрес своих подчиненных, их жен и в особенности наследников. В это время из-за склона ближней сопки показалась первая машина, за ней другая, третья...

Рванув полог нашей палатки, Ягунов увидел мой рот, перекошенный от боли, слезы, градом катившиеся из глаз, шею, всю в мыле, и мать, державшую в руках бечеву с нанизанными перцами. Он собрался что-то выпалить, но тут до него донеслось:

— Смирно! Товарищ главнокомандующий...

Ягунов бросился вон, в сердцах кляня все на свете: и зазевавшегося повара, и Дальний Восток, где растет столь свирепый перец, и пацанву, измазавшую себе губы этим перцем.

— Опозорили, ох, как опозорили! — причитал он на ходу, придерживая рукой болтавшийся парабеллум и еще надеясь, что прибывшее начальство не разберется, что к чему.

Блюхер же не только расслышал рыдания, но и сам решил выяснить их причину. Вскоре он все понял и заразительно захохотал, вытирая носовым платком слезы: «Вот это да! Достойная смена растет у нашей доблестной армии! Что и говорить».

Затем Блюхер, затаив улыбку в своих блестящих темных глазах, сказал Ягунову: «А ну, давай своих героев-наследников сюда! Да пусть повар принесет котелок меда».

Вскоре воющий, всхлипывающий, размазывающий по грязным щекам слезы ребячий «гарнизон» был выдворен из палаток и сгрудился около маршала.

— Ну что, герои, будете таскать перец с кухни? — посмеиваясь, обратился он к нам.

— Не-ет! Не будем! — захныкали с разных сторон.

— Хорошо! Договорились! — сказал Блюхер. — А боль сейчас пройдет.

И посоветовал вымазать нам губы, щеки и глаза медом, да по сильнее. Вскоре повеял ветерок, печь губы стало все меньше и меньше...

Уговор мы держали крепко. Кухню обходили стороной. А худуший повар, завидев какого-нибудь

мальчонку, призывно махал руками и, довольный, кричал: «Эй! Иди сюда, перчику дам!..»

Это происшествие навсегда оставило в моей памяти образ Блюхера — невысокого, чуть-чуть полнеющего человека, темноволосого, с доброй лукавинкой в глазах, с орденами боевого Красного Знамени на груди. Запомнились мне и его слова о непобедимости Красной Армии и ее воинов. И я и мои сверстники так и не узнали судьбы разжалованного маршала, но неохотно замазывали химическими карандашами портреты Блюхера, что были в наших учебниках.

Постепенно мои мысли перебрались к событиям вчерашнего утра. Костлявый солдат долго плутал по улочкам незнакомого ему Бреста, то и дело обращаясь к встречным военным, но они и сами ничего не знали, а местные жители предпочитали отсиживаться по домам и подвалам. Наконец мы приплелись к мрачному зданию тюрьмы: солдат толкнул меня напоследок разок-другой автоматом и с рук на руки передал здоровенному охраннику в черной гестаповской форме. Тот неторопливо жевал плитку шоколада, то и дело прикладываясь к фляжке, и от нечего делать внимательно перечитывал записку толстого офицера. Костлявый переминался с ноги на ногу, глотал слюну. Гестаповцу надоело рассматривать листок, и он лениво поманил меня пальцем.

— Кто ты? — спросил он по-польски, и я понял, что этот гестаповец знает польский получше меня раз в десять.

«Что ж, — решил я, — скажу, что из местных, белорус!»

Гестаповец разгадал мои мысли и заговорил на

чистом белорусском языке. Слушая его, я только клял себя за то, что с ленцой учил белорусский в школе и теперь, хорошо понимая, что мне он говорит, не мог ему ответить. Акцент выдал бы меня. Я, потупившись, уставился в пол, словно там мог таиться ответ на все вопросы. Фашист махнул рукой костлявому, отсылая его назад, подошел ко мне и ловко схватил за левое ухо. Резкая боль пронзила меня. Я невольно приподнялся на цыпочки, пытаюсь поспеть за железными пальцами, тисками сжавшими ухо и тянувшими голову вверх. От боли и злобы, боясь закричать, я сжал челюсти с такой силой, что мне показалось, что из зубов посыпались искры и я уже никогда не смогу раскрыть рта. Пальцы теперь потянули мою голову к полу, и я получил такой пинок в зад, что всем телом врезался в стену.

Больше ударов не последовало. Так я пролежал час или два. Когда я осторожно перевернулся на бок и осмотрелся, на письменном столе, небрежно поигрывая линейкой, сидел молоденький офицер и синте-ресом рассматривал стоящего перед ним небольшого смуглого человека в выходной командирской форме, только без портупеи и сапог. Знаков различия на петлицах гимнастерки не было. Руки пленного скручены за спиной тонким сыромятным ремешком, от правого уха наискосок к подбородку пролег кровавый рубец. Человек стоял покорно, только огромные черные глаза его неестественно блестели.

— Что, — подбрасывая линейку, на хорошем русском языке спросил фашист, — может, по добру будешь говорить? Фамилия?

Молчание. Пауза. Резкий присвист линейки, реб-

ром ударившей прямо по рубцу. Голова пленного дернулась. Из рубца заструилась кровь. Офицер соскочил со стола и, вытащив пистолет из кобуры, стал расхаживать взад и вперед перед пленным.

— Долго будем играть в молчанку?

Тишина. Снова вопрос. Молчание. Я вижу, гестаовец начинает злиться. Он заходит за спину пленного командира, взбрасывает пистолет.

«Трах, трах трах!» — распарывают тишину выстрелы. Пленный неподвижен. Я догадываюсь, что фашист пока еще пугает.

— Я тебя быстро отправлю к марксистским богам! — тычет он пистолетом в лицо офицера. — Ха, ха, ха! — довольный собой, скалит он зубы и, заметив меня, обращается к геста-



повцу, пнувшему меня ногой: — Ты чего притащил сюда этого щенка? Намеще шпаны не хватало!

— Вроде бы советский разведчик! — пытается оправдаться тот.

— В этой чертовой стране все разведчики! — рявкает офицер. — С этим пархатым бьюсь который час, а толку — шиш! Давай молокососа на первый этаж. Там разберемся!

— Гады, ах, гады! — шепчу я про себя, чувствуя, как неудержимое бешенство, злоба к этим зверям в человеческом облике рождается где-то внутри, растет, ширится, переливаясь через край. — И мы этим фашистам верили! Слали им наш русский хлеб, заключили договор... Вот сволочи! Значит, дедушка Сережа был прав, говоря: «Гитлер — заклятый враг советскому народу!»

Тюрьма переполнена. Женщины, дети, мужчины в гражданской одежде, раненые бойцы — все ютятся на огромном заасфальтированном дворе, огороженном с трех сторон высоким кирпичным забором. Колючая проволока протянута поверху; по углам — три сторожевые вышки с навесами от солнца, со сверкающими глазищами прожекторов, с пулеметами. Фасадной стороной тюрьма смотрит в город. Туда же выходят массивные чугунные ворота и небольшое, затененное деревьями помещение комендатуры, где мне пришлось побывать. Тюрьма многоэтажная, с большим количеством лестниц, переходов. На первом этаже пленных сортируют: часть попадает в верхние этажи, а оттуда их увозят в закрытых машинах, а остальных выгоняют во двор, под палящие

лучи солнца. Сюда переводятся все, кого гестаповцы считают не опасными для себя.

Мне повезло: я оказался во дворе. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил здесь знакомых. Особенно обрадовался встрече с воспитанниками нашего полка — Петькой и Сашей. С Петькой мы были одногодки. Худенький, шустрый, с тонким, будто приплюснутым носом, он частенько страдал от изобретательных ребячьих проделок и шуток. Саша на пару годков постарше, но нерешительный, застенчивый паренек, расплачивавшийся за это тем, что частенько дежурил по субботам и воскресеньям, вызывая по утрам своим голосистым горным бойцов на зарядку. Были здесь пацаны и из других полков, но эти в счет не шли: им еще не было и десяти!

— Ленька! Ты? — затряс меня за плечи Петька. — Как попал сюда, расскажи. Мы-то считали, что весь Северный остров смели начисто. Там, говорят, фугаски-многотонки кидали!

— Черт их разберет, многотонки или нет, — ответил я, чувствуя захлестнувшую меня радость: «Теперь я не один и есть с кем поговорить, с кем посоветоваться!»

— Петь, а где твой брат? — спросил я.

— Э-э! И не спрашивай, — развел руками Петька, — как остался в субботу дома, так и баста — не виделся я с ним.

— А мои родители не успели вернуться! — заметил я. — Кто знает, где они теперь... Слушай, а ты, часом, ничего не слышал о Вовке?

— Ничего! Знаю, что госпиталь фашисты захва-

тили сразу и несколько раз прорывались к нам, на Центральный, через Холмские ворота. Наверное, погиб твой кореш!

Мы сбились тесной группкой в тени забора и закидывали друг друга вопросами. Честно говоря, раньше я принадлежал к компании ребят, не жаловавших Петьку. Но теперь и он, и Саша, и совсем незнакомые пацаны из 84-го полка казались мне старыми и близкими товарищами. Я, не колеблясь, отдал бы за любого из них жизнь. Старые обиды и счеты сразу забылись, и, думая об этом, я только мог удивляться, как это можно было ссориться по пустякам. Теперь нас свела большая беда, сблизило общее горе.

Вскоре я был в курсе всех дел в тюрьме, заочно познакомился с охраной и знал: хлеб и картошку дают утром и вечером, в середине дня — некое подобие политбеседы: сообщают о победах германских войск. «Их бин — дубина», фашистский начальник, собирает женщин и детей еще на одну беседу, часто заканчивающуюся мордобоем. «Их бин — дубина» всегда начинает рассуждать о прелестях русской песни и в заключение заставляет петь «Широка страна моя родная». Тех, кто не желает стараться, бьет тонким кожаным хлыстом.

Народ сюда согнали самый разношерстный. Были и такие, что открыто ругали Советскую власть, «комиссаров, продавшихся евреям». Эти здесь долго не задерживались: поговаривали, что их направляли на работу в местную полицию. Но большинство наши, советские, все больше командирские жены и дети.

Как-то рано утром во двор въехали две большущие, с крытым верхом машины. Из них выскочили солдаты с нашивками СС. Нас быстро растолкали прикладами и, словно на пионерской линейке, выстроили в два ряда. Мы терялись в догадках — зачем? Прибежал возбужденный, уже знакомый мне молодой офицер. Затем важно, с неизменным хлыстом в левой руке вышел начальник тюрьмы. Он не спеша пошел вдоль рядов, внимательно вглядываясь в лица людей. Остановился напротив тучной пожилой еврейки с седыми волосами, державшей на руках хорошенькую черноглазую девочку. «Их бин — дубина» ухмыльнулся, поманил Сандлер (такой была фамилия женщины) к себе. Та испуганно прижала ребенка, но из строя не вышла. Фашист поманил вторично.

— Нет! Нет! Нет! — дико закричала женщина и, упав на колени, поползла к начальнику, протягивая ему девочку.

«Их бин — дубина» пнул Сандлер ногой. Она упала. Девочка заплакала. Подскочили два рослых эсэсовца и, подхватив женщину, прижимавшую к себе плачущего ребенка, словно куль с мукой, бросили в кузов машины.

— Куда это их? — толкнул я локтем в бок стоящего рядом Петьку.

Тот в испуге затряс головой. А гестаповец шествовал дальше вдоль шеренги и, выбрав очередную жертву, тыкал в нее хлыстом. Набив битком машины, фашисты не успокоились: начались допросы, есть ли еще среди пленных евреи. Всех их заставили надеть на руку голубую повязку с шестиконечной жел-

той сионистской звездой. В середине дня в тюрьму пригнали еще партию местных женщин, стариков, детей. Охранники, загоня их в ворота, злобно махали прикладами и покрикивали: «Юда, шнеллер, шнеллер!»

Забравшись подальше, мы принялись обсуждать последние события. Неторопливый Сашка разошелся: он размахивал руками, ершил свои густые волосы и бубнил:

— Мы должны что-то придумать! Так сидеть нельзя! Так сидеть нельзя!



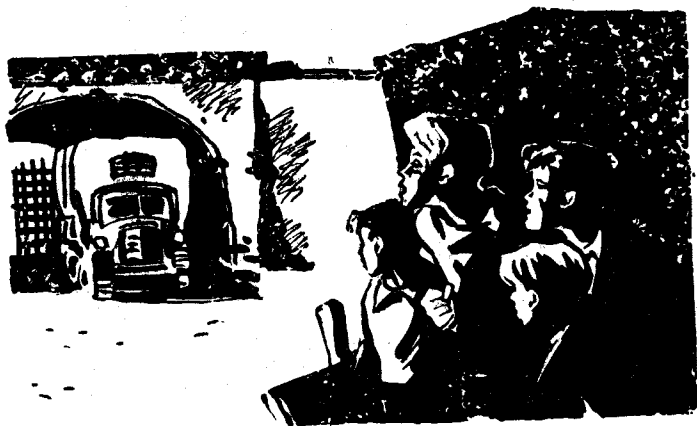
— А что мы должны делать, ты, может, скажешь? — съехидничал Петька.

— Я-то не знаю, вот и спрашиваю...

— Не ссорьтесь, ребята, — вмешался я, — только придумать нечего. Бежать — кругом автоматчики! Пристрелят, как паршивую собаку!

— Что же, будем смерти ждать? — захныкал один из пацанов. — Вон говорят, что и Сандлер и всех, кого увезли на машине, расстреляли за городом!

Под вечер, когда солнце запряталось за стену, появился «Их бин — дубина». Его покачивало, глаза — мутные. Неизменный хлыст пронзительно рассекал воздух, изредка прикасаясь к сияющим голенищам сапог. Сognaв пацанву к самому крыльцу домика, «Их бин — дубина» торжественно объявил:



— Завтра всех вас ждет большая радость! Будете петь под оркестр.

Действительно, утром появился оркестр. Но, боже, что это был за оркестр?! Толстенный, будто надутый воздухом, лысый человечек приволок огромную виолончель. Человечек был одет в черный фрак с фалдами, в стоптанные ботинки, сквозь которые проглядывали пальцы, в белоснежную сорочку. Галстук-бабочка дополнял убранство. Пот лил с толстяка ручьями, и он не успевал вытирать лицо синим платком. Его товарищ — длинный и тонкий, словно карандаш, с пышной черной шевелюрой, в золотом пенсне — держал в руках футляр со скрипкой. Тонкие, бескровные губы скрипача начинали подрагивать, как только он замечал рядом фашиста. Третьим был пианист.

— Я тебя, жид проклятый, — орал «Их бин — дубина» на пианиста, — заставлю самому притащить сюда пианино из кабака! Нет, лучше рояль!

— Но я, пан, не знал! — испуганно хлопал ресницами пианист. — Меня привели прямо из дома, я бедный человек, у меня нет инструмента.

— Ха, ха! Нет инструмента! А где ты прячешь чулок своей Сарры с золотом? — злорадно потирая руки, произнес гестаповец. — Будешь играть Баха на стуле. Я тебя научу отстукивать пальцами прямо на сиденье стула.

Все мы невольно взглянули на пальцы пианиста. Они были тонкие, нервные, будто сделанные из дорогого фарфора.

Бедный пианист, прикусив губы и спрятав испуганный взгляд за толстыми стеклами очков, опустил-

ся на колени и начал осторожно отстукивать на фанерном сиденье стула. Товарищи решили ему помочь: скрипка и виолончель дружно запели что-то браваурное и громкое, но «Их бин — дубину» не так-то легко было провести!

— Стоп! — взревел он. — А ну, давай соло!

Пальцы послушно забегали по сиденью стула. Тщетно. Те глухие звуки, что рождались под ними, тут же глохли, едва долетая до нас. Чем больше старался пианист, тем резче был звук, тем яростнее становилось помахивание хлыстом. Было невыносимо смотреть на пианиста.

Мои товарищи притихли. Даже всегда румяный Саша побледнел и шевелил губами, будто отбивая такт.

Свист хлыста разрезал воздух. Сердце рванулось и звонко забило в груди. Пианист отдернул руки, вскочил на ноги, тряся над собой покрасневшими пальцами. Из глаз музыканта медленно покатались слезы. Мы, «хористы», ожидая, что произойдет дальше, теснее прижались друг к другу.

— Продолжай! — рявкнул фашист. — Я тебя научу играть!

Начальник лагеря что-то приказал охраннику, и тот, сбегав в домик, принес жестяной таз. Пианист, зажмурившись, что есть мочи ударил по жести. Мне показалось, что его фарфоровые пальцы разлетелись на мелкие кусочки, породив собой звонкий и требовательный звук. Но вдруг «Их бин — дубина», забыв про нас, рванулся к проходной.

«Что бы это?» — только и успели подумать мы,

как тяжелые створки ворот дрогнули и, скрипя, начали раздвигаться.

Поблескивая никелем радиатора, с улицы мягко вкатил черный большой автомобиль с откидным тен-том. На заднем сиденье, утонув в нем, удобно расположился представительный мужчина с бледным, до синевы выбритым лицом, со светлыми, причесанными на косой пробор, длинными волосами. Одет он был в отличный серый пиджак. Белоснежная сорочка была распахнута, открывая мускулистую грудь. Взгляд глубоко посаженных голубых глаз был внимателен и отдавал холодком. Приехавший, небрежно кивнув вытянувшемуся во фрунт начальнику, вылез из машины. Глаза-льдинки осторожно рассматривали наш горе-хор и оркестрантов.

— Что за маскарад? — остановил он свой взгляд на пианисте, сидевшем у жестяного таза.

Музыкант подскочил, весь затрясся, пытаясь что-то сказать оправдательное, но страх оказался сильнее разума, и бедный музыкант только открывал рот, словно рыба, выброшенная на сушу.

«Их бин — дубина» стал похож на вопросительный знак. С него слетела вся спесь, и он лишь глупо улыбался прибывшему начальству.

— Что это? — чеканя русские слова, спокойно и любезно повторил мужчина. — Я вас спрашиваю!

— Да это... Это оркестранты из местного ресторана, — выдавил из себя «Их бин — дубина». — Мы тут задумали создать детский хор. Он будет зваться «Освобождение». Детей можно будет послать на праздник победы в Москву.

«Ну уж это ты загнул, жирный боров!» — так и

хотелось крикнуть мне, но я сдержался, тем более что приехавший, а он, видать, был большим начальником, еще тише сказал:

— Доблестные солдаты фюрера с боя берут каждый метр земли противника, а вы здесь занимаетесь маскарадом. Кому нужен ваш хор? Кому? Я вас спрашиваю?

Кровь отхлынула с лица начальника тюрьмы. Он стал серым, как промокашка, губы его мелко подрагивали, а кругом замерли охранники. «Их бин — дубина» молчал.

— Музыкантов отправить в солдатское кабаре! — распорядился гитлеровец. — Пусть там веселят! А хор вышвырните на улицу. У нас и так нет места для пленных и арестованных, а вы здесь благотворительность разводите!

Мужчина закрыл дверцу лимузина, и тот важно выплыл из ворот тюрьмы.

«Их бин — дубина» сразу преобразился. Теперь это был прежний, свирепый и уверенный в себе человек. Постукивая хлыстом по правому сапогу, он тихо шел к нам от ворот.

Не говоря ни слова, поманил нас указательным пальцем за собой. Около ворот выстроил всех в шеренгу и так же молча стал рассматривать наши испуганные физиономии. Выбрав самого рослого среди нас — Сашу, начальник взял его за шиворот и, тихонечко подталкивая, подвел к распахнутым воротам. Оставив нашего недоумевающего дружка стоять спиной к тюрьме, гестаповец отошел шаг назад, постоял, раздумывая, и с полного хода вlepил своим сияющим правым сапогом такой пинок Сашке,

что тот, ласточкой пролетев метра три, шлепнулся в пыль. Не дожидаясь добавки, Сашка резво вскочил и что есть мочи припустил по улице под дружный хохот эсэсовцев.

И так каждому: точно рассчитанный удар, и ты целуешь пыль у ворот тюрьмы. Больно, но главное — ты на свободе!

Эх, дороги...

Приземистые белорусские деревушки, затерянные в лесах и болотах, встречали нас настороженным лаем собак, любопытными взглядами ребятишек, жалостливыми расспросами солдаток. В деревушки эти, находящиеся поодаль от военных шляхов, еще редко заглядывали немцы, и народ здесь, будто по инерции, жил понятиями и интересами мирного времени. Бабы горевали о своих мужиках, ушедших на войну, судачили между собой о далеких фронтовых делах, копали картошку, выходили по вечерам за околицу встречать стадо. Расспросы баб каждый раз заставляли воскрешать в памяти воспоминания о том ясном и чистом утре, когда мы с ребятами поспешно распрощались с Брестом.

Над крепостью в синь неба вкручивались редкие столбы дыма, изредка слышались хлопки выстрелов, приглушенный перестук пулеметов. Последние защитники не желали сдаваться, решив дорого продать свои жизни. В городе участились облавы.

После долгих пересудов я, Петька, Сашка и десятилетний Володька решили идти на восток прямо через дремучую Беловежскую пушу. Расчет был прост: на восток, ближе к линии фронта. Да и с едой в глухих деревеньках полегче. А изголодались мы сильно. Ведь в городе с продуктами было туго.



Случались дни, когда у нас не бывало и крошки во рту. Тут еще приболел Сашок. Последнее время его румянец разгорался все чаще, в груди у него начинало kloкотать что-то густое и тягучее, и он, хватаясь рукой за грудь, начинал долго и хрипло кашлять. В глазах его появлялся испуг, и вид у него почему-то становился виноватым-виноватым.

И вот уже от Бреста нас отделяет несколько десятков километров. Все мы рады, что благополучно покинули Брест, что теперь сыты и есть где спать.

Всюду нас встречали приветливо, кормили ржа-

ным хлебом, поили парным молоком, уговаривали остаться. Чаше и чаще в разговорах ребят проскальзывало желание остаться где-нибудь в деревне и там дожидаться подхода наших. В одной из таких деревенок нас приютила в своей избе Мария Ивановна, одинокая и добрая старуха. Вечером к ней набилась полная горница соседок. Они охали и ахали, слушая наши рассказы о первых днях войны, о том, как фашисты увозили расстреливать людей из тюрьмы, то и дело задавали вопросы. Многие женщины вытирали слезы, видимо, вспоминая о чем-то своем.

В избе духовито пахло только что испеченным ржаным хлебом, парным молоком и свежими огурцами. В темном углу, перед старыми иконами поблескивал язычок лампадки. На стенах в самодельных рамках висели фотографии статных молодых людей — сыновей и внуков Марии Ивановны. Неторопливый говор женщин, хлопоты хозяйки, то и дело стучавшей ухватом в большой русской печи и подкладывавшей в наши тарелки рассыпчатую бульбу, по-белорусски томленную в молоке, как-то не вязались с темой наших разговоров. Казалось, что войны вовсе нет, что все это только дурной сон, а мы приехали в гости к знакомым и хорошим людям.

Выставив на стол все, что было в печи, Мария Ивановна успокоилась и, сложив на коленях сильные, все в узловатых жилах руки, внимательно слушала, время от времени подбадривая нас и в разговоре и в еде, на которую мы дружно навалились.

Когда в комнату заполз сумрак и с ужином было покончено, хозяйка, будто подводя итог, неторопливо заговорила:

— Страшное, ой, какое страшное время настало! Всем тяжело. А вам, ребята, нельзя в такие дни быть одним, без хлеба, без крова. Правду я говорю, бабоньки? — обратилась Мария Ивановна к соседям.

Те согласно закивали.

— Вот я так думаю: оставайтесь у нас в деревне. Наши и без вас одолеют германца. Не могут живодеры-фашисты долго продержаться на нашей земле. А хлебушек у нас, слава богу, есть, картошки по осени накопает. Как-нибудь перебьемся до лучших времен.

Ее поддержали. Женщины стали расписывать те трудности и ужасы, которые могут ожидать нас на военных дорогах. А у них пока тихо. Оккупанты еще и не заглядывали. Ребята помалкивали. Я сидел ни жив, ни мертв, в груди моей тоскливо сжималось сердце. Неужели дружки согласятся? Значит, пойду один. Я должен, я обязан пробиться к фронту. Там свои, там родные. Я намеревался пробраться в Новороссийск, где живут дедушка Сережа, тетки и братья. Я всегда пытался представить отца на моем месте: как бы поступил он? Совершенно ясно: отец дошел бы до своих, чего бы это ему ни стоило! Так неужели я должен поступить иначе? Конечно, нет!

Когда настало утро, росное и чистое, я первый соскользнул с сеновала, где мы провели ночь, и равнодушно, будто все решено, крикнул: «Эй, пора трогаться!»

Ребята не поднимались, помалкивали, отводили глаза в сторону. Петька тоже сопел, но, решившись, сказал за всех: «Куда трогаться? Мы вроде остаемся!»

— Ах, так! — сказал я возмущенно и, перекинув

за спину вещмешок с харчами, зашагал со двора, надеясь, что дружки последуют за мною. Это был старый, испытанный метод убеждения. Видя, что за мной никто не идет, я остановился и, стараясь вложить в свои слова побольше гнева и презрения, выпалил: — Эх вы! Могу понять Сашку. Он болен, и ему нужны покой, хорошее питание. А вы, здоровые ребята, трусили и остаетесь!

Все трое не обронили ни слова, глядя мне вслед. А что они могли сказать?

Вначале я надеялся, что ребята догонят меня, но чем дальше я отходил от деревни, тем слабее становилась надежда. Я понял, что я остался один. Перспективы мои были не блестящи — один на незнакомых дорогах, где меня поджидали всякие неожиданности, без крова и хлеба, я шел по земле, захваченной фашистами.

Постепенно леса редели, отступали от большаков. Их место заняло раздолье полей, переливавшихся золотистыми волнами пшеницы. Зерно было тугое, ядреное. Местами хлеба осыпались, но их никто и не думал косить. Попадались совершенно черные поля — здесь жадный огонь утихомирил золотые волны. Воздух отдавал горчинкой, а набегавший ветерок взвирывал золу, швыряя мне в лицо хлебный пепел.

Тропинки, проселочные дороги, большаки уводили меня все дальше и дальше на юго-восток. Все чаще встречались развалины — приметы коротких, но жарких схваток. Осиротевшие дома удивленно взирали своими зияющими окнами на белый свет, будто спрашивая: «Что произошло, объясните?»

Постепенно я перестал жаться к проселочным дорогам и вышел на шоссе, ведущее от Бреста через Луцк и Ровно на Житомир.

Чем дальше на восток, тем чаще встречались березовые кресты с висевшими на них черными касками, тем громче становились разговоры о расстрелах, чаще попадались мне сытые и самодовольные физиономии полицаев. Они приставали к женщинам, задерживали и обыскивали мужчин, забирая все маломальски ценное, но пока моей персоной не интересовались. Появились указатели на немецком языке, приказы и распоряжения, гласившие: «Земля и все недвижимое имущество принадлежит рейху!»

Как-то погожим ласковым вечером подошел я к большому, утопавшему в зелени садов селу, с не вязавшимся к нему названием Сторожка. У первой хаты повстречал трех подростков. Одеты они были в домотканые рубахи, заправленные в черные штаны. Все трое давно не стрижены и босы. Верховодил черноглазый и черноволосый паренек, худощавый и подвижной, словно живчик. Он смело подошел ко мне и спросил:

— Ты откуда?

— Издалека. С самой границы.

— А!.. Как звать-то? Меня — Кастусь! — сунул он свою жесткую, крепкую руку.

— Ленька!

Пока мать Кастуся накрывала на стол, мы оживленно болтали. Покончив с едой, вышли из хаты и присели на завалинке. Ребята уговорили меня остаться ночевать.

— Ты знаешь, Лень, — сказал Кастусь, тряхнув

своим черным чубом, — прикатил к нам в Сторожку бывший куркуль — Неделей кличут. Я и видать его никогда не видел! Занял дом правления колхоза под черепичной крышей и мало, что задумал там жить, да еще прибил к крыльцу полосатый флаг и вывеску: «Полиция». Вот гад!

— А мы и задумали флаг этот содрать, — радостно проговорил второй парнишка, сероглазый и светловолосый Ванек, — и на его место повесить наш, советский.

— Да, но как это сделать? — спросил я. — Где достать флаг?

— Просто! Каждый вечер, если не приезжает из района начальство, Неделя гуляет со своими помощниками, а потом беспробудно спит. Из пушек пали — не проснется.

— А флаг советский, что еще в первые дни немцы сорвали и выбросили, мы припрятали в надежном месте. Ждали, пока наши придут, да вот задумали проучить Неделю, а заодно и тех, кто прибивается к предателю поближе. Пусть знают, что Советская власть жива!

Я загорелся, позабыв о том, что давал себе зарок: в пути нигде не задерживаться. Садами мы пробрались к дому, над которым мокрой тряпкой сник не то петлюровский, не то еще какой-то белогвардейский стяг. Окна были настежь распахнуты. В сад падал сноп яркого света, доносились пьяная речь, бабий смех, песни. На крылечко, пошатываясь, широко ступая коваными немецкими сапогами, вышел толстый, красномордый мужчина лет пятидесяти. Он был в немецкой полевой форме, только без погон, Рыгая, Не-

деля бессмысленно уставился на кусты. Затем он вытащил из кобуры пистолет и нетвердой рукой навел его на кусты.

«Трах, трах, трах!» — пастушьим бичом хлестнули выстрелы. Мы прижались плотнее к стене хлева, боясь, что Неделя переведет огонь в нашу сторону. Но тут из дома выскочили собутыльники полиция и потащили упиравшегося дружка в горницу. Оттуда еще долго слышались его вопли: «Жида! Комиссары! Вешать всех!»

Когда разбрелись перепившиеся полицейские, кто в одиночку, а кто вдвоем, до нас из горницы донесся громкий храп с присвистом. Пора начинать. Тихонько подошли к крылечку и попытались на прочность длинный шест. Он был намертво приколочен длинными гвоздями к балке. Мы быстро спустили полицейский стяг, а на его место привязали красный, советский.

— Постой, — прошептал я, когда мы уже собрались ретироваться, — хорошо бы смазать шест мазутом или колесной мазью. А?

Кастусь слетал домой, и вскоре толстый слой тавота покрыл шест почти до половины.

Чуть свет мы уже были на своем наблюдательном посту. Нам очень хотелось увидеть, как рассвирепеет Неделя, увидев красный флаг, трепещущий над полицией. Ждать пришлось долго.

За селом вначале глухо, а затем звонче застрекотали мотоциклы. Поднимая густую, не успевшую остыть за ночь пыль, к дому Недели подскочили три немецких мотоцикла с колясками. Оттуда вывалились автоматчики и, заметив красный флаг над кры-

шей, на мгновение замерли на месте, а затем громко заговорили. Тут-то и высочил ничего не ведавший, но на всякий случай сжимавший в руке пистолет Недедя. Фашист с первого мотоцикла, пригнувшись, выбросил автомат.

«Та, та, та» — короткая очередь прошла толстое брюхо Недели. Он охнул, схватился за живот и медленно скатился со ступенек. Мы бросились наутек. Мотоциклы, видимо ожидая ответных выстрелов, рванулись с места и, петляя, на полном ходу помчались прочь из села, оставив после себя облако медленно оседавшей пыли.

Отдыхались мы только за селом, недоуменно и испуганно глядя друг на друга.

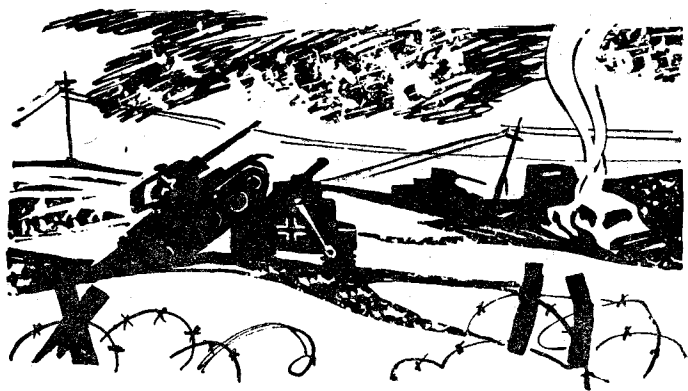
— За что это они его? — запинаясь, произнес Ванек.

— Чудак, — похлопал его по плечу Кастусь, — советский флаг фашисты заметили у самого дома и решили с перепугу, что здесь партизаны. Так Неделе и надо! От своих же, сволочь, смерть принял.

— Эх! — горестно протянул Кастусь. — Жаль, что ты уходишь, а то бы мы еще с тобой и не то устроили!

— Ничего, ребята, как только отгонят фашиста, так я к вам обязательно приеду, — взволнованно и в тот момент крепко веря в это, заявил я. — Обязательно!

Но таких удачных дней в те дни моей жизни было мало. Горестей было намного больше, но так уж устроен человек: плохое быстрее стирается из памяти, нежели хорошее. Вообще же те времена — это единый сгусток невзгод и страданий, в которые кое-

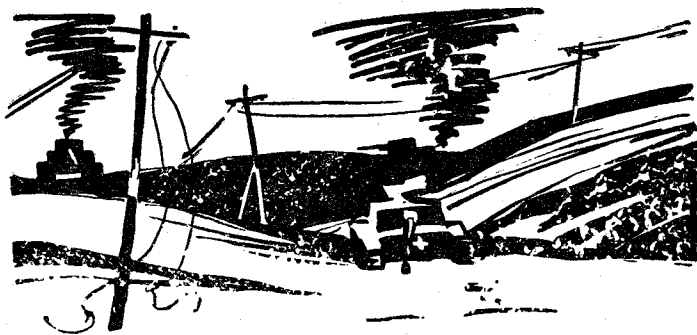


где вкраплены незабываемые и светлые минуты теплого и доброго, человеческого.

Много обид перенес я, шагая по опаленным дыханием войны дорогам, много увидел людского горя, которое принесла с собой война.

В глухих, отдаленных от жилья и центральных дорог местах нарывами вспухали рыхлые холмы свежей земли — здесь гитлеровцы из зондеркоманд СС расстреливали евреев и всех, кто пришелся им не по вкусу. Это были запретные зоны, и люди шарахались от этих страшных мест, как от проклятых. Встречались совершенно обезлюдившие местечки, в которых уже никогда не зазвонит смех детишек, не закурится над крышей сладкий дымок. Жителей этих опустевших селений или угнали в Германию, или же они заснули вечным сном под свежими холмами братских могил.

Многих, чьи дороги скрестились с моими в те



грозные времена, наверное, нет в живых. Некоторые встречи и события уже навсегда сгладились из моей памяти, но два происшествия навсегда остались в ней так же, как и воспоминания о первых минутах войны.

До сих пор живет в моей памяти суровая и неповторимая картина танковой битвы под Ровно. На перепаханном железными гусеницами, изрытом снарядами просторном поле сошлись зеленые советские машины с пятнистыми гитлеровскими танками. Рваная и обгоревшая танковая броня, разбросанные медные гильзы взорвавшихся боекомплектов, обуглившиеся, начавшие разлагаться тела наших погибших воинов. В самом центре поля в последнем стремительном рывке замерла советская машина, подмявшая под себя фашистский танк. Поверженный противник лежал беспомощно, перевернувшись на бок, а советский танк победно вскарабкался на ненавистного врага и ликующе вознес в поднебесье длинный ствол своего орудия. Немного поодаль вытянулись ряды

деревянных крестов — кладбище вражеских танкистов с аккуратно выписанными на табличках именами погибших. Как здесь разбиралась похоронная команда — одному богу известно!

Тошнотворный трупный запах прогнал меня с поля, и я зашагал прочь от места битвы, которая впоследствии стала исторической.

Проходя по забитым войсками фюрера улицам Ровно, я с интересом наблюдал, как фашистский танк, недовольно отфыркиваясь, устало тащил на городскую площадь своего искореженного коллегу. На плацу расположился настоящий передвижной ремонтный завод. Кругом суетились, переругивались, смеялись солдаты в закатанных по локоть рубашках, с перепачканными машинным маслом руками, щеками и носами. Они лазили в крытые черные грузовики и извлекали из их недр поршни, коленчатые валы, аккумуляторы. В походных мастерских визжали токарные станки, вжикали напильники, и по всей площади разносились звонкие удары молота по наковальне. Здесь прямо под открытым небом возвращались к жизни покалеченные в боях танки.

Гитлеровцы любили украшать свои легковушки, грузовики, танки и самолеты разнообразными рисунками. Поначалу мне казалось, что каждый малевал на своей машине белой краской то, что хотел. Присмотревшись, я понял, что здесь есть своя система. На автомобилях танкоремонтных мастерских были изображены роторы электромоторов, стрелы молний, шестерни и еще что-то. И еще на дверце каждой машины имелась эмблема части — разводной гаечный ключ.

Может быть, я и забыл бы о мастерской на ровенской площади, если бы через несколько дней, обдав меня сизым перегаром солярки, мимо не стали проскакивать немецкие автомашины с эмблемой, изображавшей гаечный ключ. Колонна растянулась на два километра. Машины мчались к Житомиру. Я тоже держал путь туда.

Замыкал колонну, приотстав метров на пятьдесят, юркий «оппель-блиц». Миновав меня, он вдруг тормознул. Сидевший за рулем солдат приоткрыл дверцу кабины и поманил меня пальцем. Я остановился: что ему надо? Тогда шофер неторопливо вышел из машины и, разминаясь, заходил, поджидая, пока я подойду. Немец был высокий, жилистый, с длинными руками и крепкой загорелой шеей, видневшейся из распахнутого ворота рубахи. Он спокойно смотрел на меня, и я не мог прочесть на его довольно приятном, запыленном лице ни тени недоброжелательности.

Подойдя шагов на пять, я остановился, ожидая вопроса, как проехать, или еще что-нибудь в этом духе. Немец влез в кабину и молча похлопал по сиденью рядом с собой.

— Давай, давай! — обратился ко мне солдат на ломаном, но вполне понятном русском языке. — Иди, не бойся!

«Была не была. Все равно деваться некуда... Проеду с ним немного, а потом будет видно. Все ближе к фронту».

Усевшись поудобнее на мягком кожаном сиденье, я вытянул натруженные стоптанной обувью ноги, придумывая, что бы соврать немцу. Машина дер-

нулась и уверенно понеслась вперед. Приятная усталость разлилась по моему телу. Шофер ловко управлялся с баранкой, минуя выбоины.

Вначале ехали молча. Затем немец полез правой рукой в карман брюк и, достав что-то в серебряной бумаге, протянул мне.

Развернув шуршащую бумагу, я впился зубами в кусок шоколада, вкус которого позабыл давно. И опять вспомнились довоенные времена, мама, баловавшая меня сладостями, вкусные домашние обеды, от которых я частенько спешил отделаться. «Как давно все было! Будто в сказке. А теперь я еду с врагом и ем его шоколад. Разве это хорошо? Конечно, нет! Даже хуже, это предательство! Не дай бог, если бы меня увидели сейчас знакомые ребята...»

— Ты куда, мальчик, идешь? — нарушил молчание солдат.

— В Киев, — соврал я, — там у меня тетка. А родители погибли во время бомбежки.

Шофер присвистнул, видимо, желая пояснить: «Далеко собрался!» Мимо проносились рощицы, села, перекрестки с указателями. Осмелев, я спросил:

— А вы не знаете, где фронт?

— Э, мальчик, далеко фронт! Почти у Киева.

На лице моем выразились растерянность и огорчение, шофер, видимо, желая меня подбодрить, сказал, что он держит путь в Житомир и с удовольствием довезет меня туда. Правда, добавил он, надо как-то схитрить так, чтобы никто меня не заметил в машине. Вскоре я уже знал, что шофера зовут Пауль Браун. Родом он из Гамбурга — большого портового города, славившегося своими пролетарскими тради-



циями. Отец его всю жизнь трудился на верфях, строил корабли, бороздившие моря всего мира, защищал в профсоюзе интересы товарищей. Стал судостроителем и сын. Он был механиком, специалистом по двигателям. Нацистское начальство знало, что Пауль Браун во время забастовок поддерживал рабочих. Вот и забрали его побыстрее в вермахт, но на передовую не послали. Все-таки золотые руки: любой мотор разберет и соберет, сделает лучше нового.

— Гитлеру нужны умелые руки, — горько улыбнулся Пауль, крутя баранку, и на его лбу прорезалась упрямая глубокая складка. — Поэтому я здесь, в Советской России. Причем во второй раз.

Лет восемь назад Браун по контракту приезжал строить большой тракторный завод на Волге. В те годы ему казалось, что весь мир можно переделать по-своему, надо только очень захотеть. В Германию, где к власти пришли коричневорубашечники, возвратился, твердо усвоив такие понятия, как «советская власть», «товарищ», «социализм». Своих политических симпатий молодой рабочий ни от кого не скрывал. Много неприятностей выпало поэтому на долю Пауля: нацисты не жаловали подобное вольнодумство. По их мнению, он, Браун, чистокровный ариец, должен стать властелином мира, грабить и убивать, а не симпатизировать людям, продавшимся, как они говорили, евреям.

Сейчас остались у Пауля дома двое ребятишек. Старшему, как и мне, скоро должно было стукнуть четырнадцать.

По вечерам, когда мы подъезжали к месту ночевки, Пауль прятал меня в закрытом кузове, где я и проводил всю ночь, закутавшись в брезент. А по утрам, когда колонна двигалась в путь, он пропускал вперед все машины и всегда ехал последним. За это Пауля поругивало начальство, предупреждая, что на дорогах стало беспокойно, появились советские десантники.

— Да! — с горечью любил сетовать Браун, будто продолжая давно начатый с кем-то разговор. — Обидно, что люди смотрят сейчас на немцев, как на нацию садистов и преступников. А ведь мы, простые немцы, трудовой, честный и умный народ. Руки наших рабочих могут сделать самую сложную машину. На германской земле родились такие великие

гуманисты, как Гёте, Шиллер, Бах. Но вот появился Гитлер, и великое прошлое крест-накрест перечеркнуто свастикой, теньями виселиц, колючей проволокой концлагерей. Текут по миру реки крови и слез, и все из-за нас, немцев. А что делать? Что? Даже Альберт Эйнштейн, этот колосс мысли, бросил друзей, лабораторию, землю отцов и бежал за океан! Матери пугают нами детей. И это повсюду, где мой спидометр отсчитал километры: во Франции, Бельгии, Чехословакии, Польше. Теперь он считает версты России. А где будет конец? Я спрашиваю!..

Раскрыв от удивления рот, я слушал и слушал рассуждения этого странного немца, и в голове моей поднималась целая сумятица, вихрь противоречивых мыслей.

Неужели так думают все простые немцы? Тогда почему они пошли на нас войной? А если не все, значит, Пауль Браун — исключение, и большинство немцев — убийцы и преступники.

Браун говорил, ставил вопросы один труднее другого, не давая ответа. Мои мысли путались в голове еще больше, но как я мог выяснить что-либо у человека, когда он сам спрашивает меня. Следовательно, ему тоже нужен советчик, умный и опытный, а не такой, как я, ничего не видевший в жизни паренек. Дорога наворачивалась на спидометр километр за километром, приближая нас к месту расставания...

„Хенде хох!“

Солнце уже давно спряталось за полем, когда «оппель» въехал в лес. Теплая украинская ночь быстро укутывала землю, пряча в темноте петляющую ленту шоссе, зажигая над нами колкие снежинки далеких звезд. Пауль включил фары. Сноп света раздвинул сумрак, полоснул по корявым стволам дубов, по стройным, будто вспыхнувшим от смущения, светящимся березкам и, будто устав, завяз в зарослях кустарника. Навстречу бил упругий чистый ветер, без пыли и духоты, весь настоящий на запахах лесных цветов.

Колонна ушла вперед, и шум ее моторов поглотил лес. Узловатые пальцы Пауля ловко переключали скорости, глаза непрерывно смотрели вперед. Мне казалось, что путь наш ведет в бесконечность и нет в нем ни остановок, ни ночлега, ни отдыха. Только долгий, нескончаемый путь.

Вдруг что-то хлопнуло. «Оппель» осел на правую сторону и дернулся к обочине. Пауль выругался по-немецки, резко тормознул и выскочил из кабины. Я вылез следом. Спустил правый передний баллон. Стащив с себя куртку и перекинув ее через дверцу, Пауль остался в одной рубашке. Затем он неторопливо вытащил пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и, затянувшись, начал копать в багажнике, разыскивая

домкрат и сменную камеру. Я стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу, и глядел, как шофер в сердцах отбрасывает одну проколотую камеру за другой.

В тот же миг мне почудилось, что где-то неподалеку сухо и резко треснула сломавшаяся ветка. Пауль удивленно дернулся, весь рванулся вверх и без единого возгласа рухнул в пыль.

Я оцепенел, глядя, как в поток яркого света ворвались три человеческие фигуры. От неожиданности я хотел было дать стрелача в лес, но почему-то удержался. Одна фигура вскочила в кабину. Две подошли ко мне, и дуло автомата больно ткнуло меня в грудь: «Хенде хох!»

Я попятился, со страха поднимая руки. Железные пальцы схватили меня за шиворот и притянули к свету. Ослепительный блеск фар заставил меня зажмуриться.

— Что за дьявол! — выругался человек, отпуская начавшую трещать рубаху. — Пацан!

Злоба пропала в его голосе, уступив место удивленным ноткам:



— Ты что здесь делаешь?

— Иду!

— Куда?

— К фронту!

— Та-акс! — протянул человек. — Детский сад тоже топает к фронту... Ну, а немец?

— Что немец? Я ехал с ним...

Свет, лившийся из фар, вырывал из тьмы небритые лица суетившихся незнакомцев, заострившийся нос Пауля... И тут до меня дошло: это же свои, красноармейцы! Я быстро заговорил, пытаюсь объяснить, что я тоже наш, советский, сын командира. Что мне надо, очень надо добраться до линии фронта. Пусть бойцы не оставляют меня одного здесь, в ночи, с убитым немцем. Мне боязно. Да и командование Брауна может спохватиться и прислать за ним. Ведь его и так предупреждали об опасности.

«Оппель» на первом же перекрестке свернул по лесной дороге влево от грейдера. Его путь лежал прямо на восток. Сюда, на проселки, враги заглядывали редко.

Утром мы остановились на опушке леса, в километре от большого села. С косогора открывался широкий простор с далекими перелесками и полями. Село лежало внизу, и дымок из его труб спокойно плыл над соломенными крышами, позолоченными лучами поднимавшегося солнца. Кругом было тихо-тихо, пахло росой, прелым деревом и землей. Этот мирный покой лишь изредка нарушали беззаботные птичьи голоса. Птицам, как я заметил еще в крепости, все было нипочем: они спокойно перелетали с дерева на дерево в самых горячих местах боев.

Откуда-то издалека-издалека, со стороны солнца, приглушенно и мягко ударил гром. Еще и еще. Откуда гром? Все прислушались. Так и есть! Это разговаривали невидимые пушки. Сколько было до них верст? Пятьдесят, сто... Кто их мог сосчитать? Но у всех радостью засветились глаза, в душе вспыхнула надежда, что скоро, очень скоро кончатся наши скитания, страхи и тревоги. Где-то там, на востоке, шел бой. Там были наши.

Размышления мои прервал лейтенант. Он протянул мне руку с сухими горячими пальцами и, глядя прямо в глаза, сказал: «Что ж, парень, свела нас война. Давай знакомиться! Меня зовут Виктор, по фамилии Кедров».

Лейтенант Кедров мне сразу понравился. Настоящий русский богатырь, с открытым, довольно красивым лицом. Он то и дело встряхивал головой, отбрасывая волосы. Прямой нос, чувственные волевые губы и твердый решительный подбородок.

Вот только форма вся поистрепалась, была грязной и, скажем прямо, не шла лейтенанту. Бойцы тоже были в изодранной одежде, грязные, небритые и усталые. Петя, стройный, небольшого росточка брюнет, с румяными щеками, родом откуда-то с Кавказа, был быстр и стремителен. Кряжистого, похожего на обрубок, немногословного третьего бойца тоже звали Петром. Только он был из Сибири. Пока мы трое напряженно вслушивались в артиллерийскую канонаду, он невозмутимо рылся в кузове машины, доставая оттуда съестные припасы.

— Да, — ворчал он, — все иностранное. Пограбим фрицы Европу. Ну, ничего, нам тоже пригодится!

Виктор Кедров в шутку звал обоих Петей-раз и Петей-два.

Петя-раз вскоре сварганил довольно вкусный завтрак. Насытившись, Виктор сказал: «Фронт теперь от нас не уйдет. Это факт!»

После завтрака я отправился в село разузнать, что к чему. Село стояло тихое, боязливое. Лишь изредка стукнет калитка да перебежит дорогу кошка. Дойдя до середины, я свернул по тропке, ведущей на огороды, думая задами вернуться назад. Навстречу мне попала курносая чернявенькая девочка лет десяти. Стрельнув в меня своими карими глазенками, она запросто, не боясь, подошла ко мне и, ткнув пальцем в грудь, спросила: «Ты звидкиля?»

— А что?

— Да ничего. Только у нас староста дюже злой, всех чужих приказал полицаям ловить и сажать в сарай. Там, где раньше колхозный хлеб був.

— А потом что?

— Как — что? Гонит их в город, к германцу.

— В какой город?

— Вот чудак! Не знает, в какой. В Белую Церковь. Во-он по тому шляху! — махнула она рукой в сторону солнца.

— А далеко город-то?

— Далеко! Мужики за день на добрых конях не добираются. Я-то там ни разочку не була...

Когда я, запыхавшись, выбрался на косогор, на опушке машины не было.

«Неужели уехали? Не дождались? А может, специально меня отправили в село, сами — в другую сторону». Так я и стоял, почесывая голову.

Тихий свист заставил меня обернуться. Петя-два в одних трусах манил меня из кустов. Оказывается, они решили денек передохнуть, а ночью тронуться в путь. «Оппель» загнали в самую чашу да еще понатыкали в него ветки, куда только можно.

Лейтенант, заложив руки за голову, лежал на траве и думал. Редкие пятна света, прорвавшиеся сквозь листву, разрисовали его грудь, ноги и руки блестящими бликами разных форм и размеров.

— Виктор, ты будто леопард! Весь пятнистый! — смеясь, заметил Петя-два.

— Какой там леопард! — в сердцах бросил Петя-раз, отрываясь от своих дум. — Леопард — уважающее себя животное. Он бежать не будет, пусть на его пути хоть сам царь зверей станет. А мы драпаем от самой границы, да все на заранее подготовленные рубежи. А где они, эти рубежи?

Петей-два владели сейчас совсем «мирные» мысли. Он размышлял о горах, покрытых снежными папахами, о виноградниках, разбитых на склонах, о воде из бешеной реки, от которой стынут зубы. Эх, сейчас бы хоть кружку такой водицы! О своем маленьком белом домике на склоне горы.

— А мне, как кончится война, и податься некуда и не к кому, — заметил Виктор. В его голосе я уловил тоску и боль. — Может, к товарищам, детскому дому? Да где они? Поразбросала всех война.

— А где отец с матерью? — ляпнул я, но было уже поздно.

— Нет их у меня, Леня! Отца и матери в один день лишился. Говорят, «враги народа». Отец был комбригом, всю гражданскую в боях провел. Два ор-

дена имел. Была сестренка, поменьше меня годков на пять, так ее отправили в детдом, а адрес мне не дают, сколько ни прошу. Олей звать. Меня даже в разведку не хотели брать. Один в военкомате, из ретивых, так прямо в глаза и хлестнул: «Сбежишь ты! Не станешь воевать за Сталина». Так я его чуть стулом не огрел, да сдержался, наказ отца вспомнил: «Считай до десяти...» Одно выручило — учился в институте на немецком отделении.

Лейтенант замолчал, покусывая травинку. Мы с Петей призадумались, притихли. Мне стало стыдно за свой неуместный вопрос, вызвавший грустные воспоминания у лейтенанта, и я от всего сердца промолвил:

— Виктор, не огорчайтесь. Перейдем линию фронта, поедem к нам в Новороссийск. Там у меня, наверное, мама, там дедушка, две тетки. Они очень хорошие и обрадуются вашему приезду.

— Спасибо, друг! — потрепал меня по голове Виктор. — Обязательно поедem. Я очень хочу узнать твоих родных. Они, должно быть, хорошие люди.

На войне люди как-то быстро сходятся друг с другом, поверяют свои тайны, делятся мыслями.

Мне казалось, что я знаю Виктора и его товарищей целую вечность. Они вдруг стали мне такими близкими и дорогими. Я рассказал им, не утаив ничего, и о себе, и о крепости, и о том, как растерялся с дружками. Вспомнил тюремный оркестр, увиденную мною картину битвы танков, приезд в часть маршала Блюхера и то, как мы покинули Дальний Восток...

Ночью наш «оппель» не спеша выбрался из своего укрытия и, не зажигая фар, покатыл через село.

Предложение Пети-два прикокнуть старосту было решительно отвергнуто лейтенантом. Виктор сидел за рулем в полной парадной немецкой форме, которая ему была узка. Петя-два примостился рядом с ним, напялив на голову пилотку с орлом и положив на колени автомат. Мы тряслись в кузове, то и дело поглядывая вперед.

Начало светать, когда полевая дорога вдруг уперлась в щебенку грейдера. Кругом было пустынно, поля терялись в сереющей мгле. Грейдер уходил на разгорающийся восток.

Виктор, приглушив мотор, крикнул:

— Попробуем счастья!

Я почувствовал, как автомат, протянутый мне Петей-раз, больно ударил в плечо.

— Диск полный?

— Да!

— А еще есть?

— Конечно!

Пока мы перекидывались односложными фразами, «оппель» шустро катил к большаку. Сзади слышался вой автомобильных клаксонов. Вскоре с мягким свистом мимо нас промчалась машина, за ней другая. Упершись носами в заднее зарешеченное стекло кабины, мы с Петей-раз успели разглядеть, как впереди, приседая на ухабах длинным и черным телом, шла легковая машина с открытым верхом. В ней сидели трое. Метрах в двухстах, приотстав от шлейфа пыли, поднятой первой машиной, неслась другая открытая машина, битком набитая гитлеровцами. Обе машины уходили от нас все дальше и дальше.

— Ишь ты, в переднем «хорхе», видать, большие тузы покатили! — сплюнул Петя-раз. — Гранат пару швырнуть бы в самую кучу.

— Точно! — поддержал я. — Догнать бы их, а потом в лес смыться. Пусть ищут!

...На далеком пригорке выплыло небольшое село с торчащими журавлями колодцев, с темными пятнами садов и одинокой мельницей, гордо удалившейся от наскучивших ей хатенок на лысеющий бугор. Ее крылья неторопливо вращались, напоминая о том, что жизнь идет и никакая война ее не остановит.

По брезенту кузова забарабанил Петя-два.

— Эй! — кричал он. — Эй! Вы что, заснули?!

— Перестань орать! — рывкнули мы в две глотки. — Не глухие. Что надо?



— Фрицы, что нас обогнали. В селе водицу пьют. Смотрите там!

«Оппель» рванул. Петя-раз деловито шелкнул за-твором. На пол около заднего борта он поставил ящик с гранатами.

Спокойствие и решительность Пети-раз заставили и меня подготовиться. Мы раскрыли маленькие брезентовые окошечки, что были на задней стенке и по бокам.

Мимо начали про-скакивать саманные хатки, старательно побеленные известью, с соломенными крышами и маленькими оконцами с заклеенными газетными полосами стеклами, чтобы не выбило взрывной волной. Но война здесь, по всему было видно, прошла сто-роной.

На небольшом пя-тачке перед колодцем стояли легковые ма-шины. Когда нам до них оставалось метров двести, «хорх» резко взял с места и, подняв облако пыли, скрылся в нем.

Шофер второй машины доливал воду в радиатор. Наш грузовик прошел впритирку с его лакированным бортом.



Позади рвануло: «Трах! Трах!» Раздались крики. Пята-раз прямо через брезент кузова разрядил диск. Мотор ревел на предельных оборотах, пытаюсь не упустить ушедший далеко вперед «хорх». Сквозь окошко я успел разглядеть белую стрелку спидометра, метавшуюся за цифрой сто.

Справа вырос горб холма. «Оппель» выскочил на пригорок и устремился вниз. Нудно задребезжала какая-то плохо закрепленная деталь. Дорога делала крутой поворот влево и поднималась опять вверх. «Хорх», глухо завывая, одолевал последние метры. Его приземистое хищное тело блеснуло в лучах солнца и скрылось.

Вот и мы пошли на подъем. Здесь Виктор сумел отыграть несколько десятков метров. Дальше было ровное место. Мощный восьмицилиндровый «хорх» стал заметно уходить. Наша машина взревела и послушно рванулась за ним. Дорога, петляя, опять круто забирала в гору. Теперь фашистов не было видно. Гудение мотора перебило разнесшееся эхо выстрела. Пуля щелкнула о придорожный камень и, по-комариному запев, унеслась.

В тот самый момент, когда наш «оппель» достиг середины змеещегося пути, вновь глухо разнесся звук выстрела. Разрывная пуля врезалась в землю перед самым капотом. Вторая угодила прямо в ветровое стекло, золотистые ниточки-паутинки побежали в разные стороны от рваной пробоины. Виктор ударил кулаком по остаткам ветрового стекла. Осколки со звоном посыпались на капот. Больше выстрелов не было.

«Оппель» вынесся наверх. Черный «хорх» пылил далеко впереди.

— Эх, ушли! — больно стукнул я кулаком по борту. — Гады! Да разве угонишься за таким «самолетом»!

— Ушли-то ушли, — зло процедил Петя-раз, — куда теперь мы уйдем? Вот вопрос. Они у первого поста поднимут такой шум, что несдобровать! В общем влипли!

Западня

В подвале нам пришлось просидеть пять дней с туго закрученными за спиной руками. Сидеть день за днем и думать, думать... Собственно, мы готовы были ко всему самому худшему. Только Виктор изредка говорил, ни к кому не обращаясь: «И дернуло же нас гнать на машине. Надо было пробираться лесами! — И уже обернувшись ко мне: — А тебе и по-давно нечего было делать с нами в машине!» Только на шестой день нас повели на допрос. Меня и Виктора втокнули в комнату допроса вместе.

Хлынувший навстречу свет заставил зажмуриться. Из оцепенения вывел приятный мужской баритон. Услышав его, я сразу решил: знакомый голос.

— Господин Кедров! — поднялся навстречу высокий человек в хорошо сшитом сером костюме. — Очень рад, очень рад познакомиться с сыном героя!

«Какого героя?» — очумев от яркого света и от этого вопроса, взглянул я на лейтенанта. Виктор стоял в парадной гитлеровской форме, со скрученными за спиной руками. Его лицо было спокойно и равнодушно.

«Ах, да! — вспомнил я. — Ведь у Виктора отец был комбригом, участником гражданской войны. Но как они узнали об этом?»

— Вы оказали нам большую услугу, — продол-

жал человек в гражданском, держа в руках комсомольский билет Виктора и измятое письмо. — Пауль Браун был врагом Великой Германии и сочувствовал коммунистам.

Лейтенант молчал. Улыбка скривила его губы. Я перевел взгляд на хозяина кабинета. Внимательные голубые глаза, в которых поблескивали кристаллики льда, подсказали: «Да ведь это, кажется, тот самый гитлеровец, что приказал выгнать нас из Брестской тюрьмы!»

— Развязать! — приказал гитлеровец, указывая на скрученные руки Виктора.

— Яволь! — подскочил охранник.

И тут до меня дошло, что фашист благодарил Виктора за то, что он застрелил Брауна. Подталкивая нас к столу, он говорил: «Очень рад, очень рад. Садитесь».

Откуда он мог узнать об этом? Ну, конечно, «оппель» и форма. А труп Брауна, видно, уже нашли на дороге.

Умостившись поудобнее в кресле, гестаповец неторопливо листал какие-то бумаги, изредка поглядывая на нас. Отыскав нужный ему документ, он улыбнулся Виктору.

— Вы храбрый человек, лейтенант, — начал гитлеровец, — ваши солдаты держались стойко! Скажу вам откровенно, — доверительно наклонился к Кедрову гестаповец, — я считал бы за честь иметь таких солдат у себя под командой.

Лейтенант молчал, что-то обдумывал. Я совсем растерялся, не понимая, к чему клонит фашист, и начал лихорадочно перебирать в памяти события того

дня, который так трагически для нас закончился, надеясь найти объяснение поведению допрашивавшего нас немца.

Когда «хорх» с гитлеровцами ушел, мы надеялись перебиться до ночи в каком-нибудь лесу. Но кругом тянулась голая степь. И тогда лейтенант погнал «оппель» прямо по полю, дальше от грейдера. Мотор надрывно выл, работая на полных оборотах, но пришло время, и он не выдержал — закипела вода в радиаторе. Кое-как добрались до опушки леса.

Вспомнился и мрачный, весь заросший орешником дубовый лес, где мы провели томительно долгий день, ожидая погони. Через лес нехотя, засыпая на ходу, пробиралась неширокая Ирпень. Вода в ней прозрачная, будто подсвеченная изнутри хорошо промытым янтарным песком. Поэтому стебли камыша и жесткие клинки шуршащей осоки, густо облепившие берега, становились в воде темно-фиолетовыми и необычно толстыми. В тени подводных зарослей отсыпались, флегматично шевеля усами, жирные сомы. Они дразнили нас, эти рыбы, но поймать хоть одну не было никакой возможности.

Податься было некуда, и мы ждали ночи. Пышные дубы, перевидавшие на своем многовековом пути всякое, равнодушно шелестели жесткими листьями, будто обсуждали наше незавидное положение. На душе муторно, и мы молчали, валяясь на прогретой земле, глядя в небо.

Когда за лесом догорел закат, на потемневшем востоке стали вспыхивать отблески оружейных залпов. И до нас стал долетать смягченный расстоянием глухой голос приблизившегося к нам фронта.

Он вызывал в душе щемящее чувство ожидания и тревоги. Мне казалось, что пушки, так же как и люди, устали и больше стреляют по привычке, боясь показать кому-то эту свою усталость и, не дай бог, заснуть.

Наконец Виктор решительно уселся за руль и сказал:

— Ну, тронули! Попытаем счастья. Может, прорвемся к Днепру?!

Вновь началась изматывающая душу и тело тряска. Но вот «оппель» выбрался на мягкую полевою дорогу, выбегавшую из большого села. Виктор заглушил мотор. И сразу же ворвался звонкий хор цикад. Мирным покоем тянуло от светящихся в голубоватом лунном свете белых саманных хаток, от блестящих глечиков, развешанных на плетнях. В деревне тихо. Даже обычно неугомонные деревенские псы и те, видать, увлеклись своими собачьими снами.

— Вроде порядок, — проговорил лейтенант, включая скорость. — Село проехали благополучно.

Дорога выбежала на пригорок, и внизу чешуйками серебра засветилась речка. Черной полосой светлую гладь воды пересекал мост. Около въезда на него притулилась сторожевая будка. Набирая скорость, машина с мягким рокотом двинулась вниз. До будки оставалось метров сто, не больше. Виктор включил дальний свет, ударивший в ее оконце. Оно хитро подмигнуло нам в ответ. Из дверей высыпали люди с винтовками — полиция. Ослепленные, они что-то заорали, замахав руками. Видимо, требовали затормозить. Машина ринулась к мосту. Через окон-

це я успел заметить, как в кабине Петя-два вскинул автомат. Полицаи пошлепались в придорожный кювет.

Выстрелов в ответ не последовало. Это я запомнил. И даже удивился: «Почему?»

Миновали будку. Мягко мчались по деревянному настилу колеса. Вот и середина моста...

«Трах-тан-н-н...» — что-то тугое лопнуло под нами. Остро пахло горелым толлом. «Оппель» понесло вправо. Петя-два, подброшенный какой-то силой, прыгнул вверх, рискуя пробить головой крышу кабины. В тот же миг раздался скрежет. Радиатор врезался в перила. Передние колеса зависли над водой. Я больно ударился головой. В глазах поплыли оранжево-фиолетовые спирали. Петя-раз навалился на меня. Оглушенные, ничего не понимающие, барахтались мы в темноте кузова.

Выбравшись на пыльный настил, сразу увидели пламя, вырывавшееся из-под капота. Пули попискивали, вгрызаясь в настил, с дрожащим звоном отскакивали от ободов колес. Щепки разлетались в разные стороны.

Багровые языки горящего бензина расползались по мосту, падали в темную воду и там, словно набравшись силы, вспыхивали еще ярче, создавая яркий фон для наших фигур.

— Прячьтесь за колеса! — приказал Виктор, вытаскивая Петю-два из кабины. Петя-раз, притулившись за скатом, чертыхаясь, нажал курок.

«Та-та-та!» — перекрыл одиночные выстрелы его автомат. Пули полицаев с яростью задиныкали по дискам колес. Наконец лейтенант вытащил Петю.



Он был без сознания. Голова, словно на шарнире, бессильно моталась.

— Жив! — нащупав пульс, ни к кому не обращаясь, сказал Виктор. — Сердце бьется! Бери его и ползи! — перехватывая автомат, бросил Кедров Пете-раз, — я задержу! Авань ночь поможет! Уйдем! А ты, Лень, метров через тридцать двигай следом!

— Есть! — ответил я.

Полицаи не спешили. Они считали, что мы у них в руках. А может, растерялись, видя, что Кедров в немецкой форме. Кто знает?

Петр, взвалив на спину раненого, выполз из-за машины. Затаив дыхание мы ждали. Сейчас, сейчас с берега загремят выстрелы. Оба Пети видны как на ладони! Враги молчали. Лишь изредка мелькала чья-нибудь голова, и тогда Виктор давал короткую очередь. Голова исчезала. Пять, десять, двадцать метров...

— Ты здесь?! А ну, ползи! — В голосе Виктора было столько злости, что я перепугался и начал было уже выбираться из-за машины. Благо не стреляли. Но тут сноп пламени поднялся на том месте, где всего мгновение назад находились оба Пети. Я даже увидел, как кусок моста выгнулся горбом и тут же, разломившись на части, стал падать вниз. Там, где были наши товарищи, зияла зловещая пустота. Мы оказались отрезанными от спасительной земли. Перед нами враги.

«Что будет?!» — думал я, прижимаясь к настилу. Рядом тяжело дышал лейтенант. Стало тихо-тихо, только нудно пели комары. Где-то за сторожкой заур-

чали моторы. Отблески фар замечались в ночи над рекой, будто желая поспорить с лунным светом. В окружении мотоциклов показалась танкетка. Автоматчики побросали мотоциклы и рассыпались около будки. Офицер о чем-то стал говорить с подбежавшим к нему полицаем. Затем танкетка подъехала к самой реке. Офицер закричал:

— Предлагаю плен! Борьба не имеет успех!

А какой-то приспешник из местных злорадно добавил:

— Все! Кончилась ваша власть, коммуна! Капуть!.. — и грязно выругался.

— Эх, далековато! — процедил Виктор. — Сюда бы нашу трехлинейку!

Но все-таки нажал на курок. Офицер юркнул вниз. В ответ запели пули. Я лежал, прижавшись к колесу, и короткими очередями бил по темным бугоркам, подползавшим все ближе и ближе.

— Живьем хотят взять, сволочи! — выругался Кедров.

Танкетка дернулась и, набирая скорость, ринулась на нас. Я видел ее сверкающие, отполированные гусеницы, надвигавшиеся ближе, ближе, и, словно загипнотизированный светом фар, в ужасе прижимался к настилу.

Виктор, зажав в руке одну гранату, положив рядом другую, ждал. До нас оставалось не более десятка метров. Одну за другой лейтенант метнул гранаты. Первая разорвалась под гусеницей. Другая попала в моторное отделение, выбросив оттуда сноп пламени. Бешено заревев, танкетка развернулась вокруг своей оси и замерла. Из люка показалась го-

лова, но очередь, пущенная лейтенантом, заставила танкиста скрыться.

Все дальнейшее смешалось: и фрицы и полицаи поднялись и пошли в атаку. Наши автоматы били бесперебойно, но вдруг — осечка. Патроны все! Отступать было некуда. Тут на нас и навалились!.. Озверевшие полицаи хотели сразу же пустить нас в расход. Но офицер, увидев на Викторе немецкую форму, утихомирил их, заявив, что мы, наверное, разведчики и потому должны быть живьем переданы в гестапо.

И вот мы здесь, у моего брестского «знакомца».

— Собственно, — прервал мои думы возглас лейтенанта, — что все это значит? Я советский командир и свято выполнил свой долг перед народом. И вам следует поступать со мной как с военнопленным. Что касается убийства отца, то это ваши досужие вымыслы! Он давно умер!

— Не торопитесь! — ехидно вставил гитлеровец. — Вы еще слишком юны, а ваше начальство глупо. Разве можно посылать разведчика в тыл и оставлять у него документы? Ну ничего, с возрастом придет и опыт! — бросил он на стол комсомольский билет и удостоверение личности Кедрова. И уже твердо добавил: — Вы не военнопленный! Вы диверсант, убивший два десятка доблестных солдат фюрера. И на вас действительно распространяются все законы военного времени. В данном случае вас ждет расстрел! И вашего юного друга, — кивнул он в мою сторону, — тоже! Я от всего сердца хочу вам помочь. И вашей сестре, Кедров.

— Какой сестре? — рванулся вперед Кедров.



— Тихо, тихо! — погрозил пальцем гитлеровец. — Не забывайте! Наша разведка работает превосходно. Мы знаем все! Подумайте и о сестре. Отец — враг народа! Идет война. Девушка вступает в жизнь. Ей недавно, как вы знаете, исполнилось восемнадцать. Цветущий возраст! А?..

Виктор затаил дыхание. Гитлеровец поднялся и, подойдя к окну, толкнул створки. В комнату пахнуло жаром, запахом сена и яблок. От этого запаха у меня закружилась голова, и я едва удержался на ногах.

— Курите, — щелкнул портсигаром фашист, протягивая его Кедрову.

Тот молчал, в упор разглядывал хозяина кабинета. Затем, видимо передумав, решительно взял сигарету и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки.

— Вы же умный человек, Кедров, — сказал гестаповец. — Ну зачем нам спорить? О чем? Мы ведем войну против сталинской России, а значит, и против людей, расправившихся с вашим отцом. Не надо, не надо! — поднял он руку, жестом запрещаая Виктору возражать. — Я не желаю слушать ваши отрицания. Я давно занимаюсь Советским Союзом и, если желаете, могу рассказать вам такое об отце, о чем вы и не догадываетесь.

Кедров резко повернулся:

— На что вы намекаете?!

— Нет, нет, — засмеялся гестаповец, — ваш отец был честным человеком, преданным своей родине. И это еще больше усугубляет вину тех, кто был с ним столь несправедлив. Теперь у вас будет возможность

с ними покончить. Собственно, у вас еще есть время подумать, все взвесить...

И тут, словно очнувшись, гитлеровец уставился на меня. Взгляд его прозрачных глаз наполнил мою душу холодом. Подойдя к столу, он нажал кнопку и отдал вбежавшему солдату какую-то команду. Тот, больно стиснув мое правое плечо, толкнул меня к выходу...

Побег

С допроса нас отправили в концлагерь, который находился прямо в городе. Все улицы Белой Церкви запружены фашистскими танками, автомашинами, орудиями, солдатами. Все это месиво текло на север, к Киеву, взятому в клещи. Кустарник и густая листва деревьев покрылись серым налетом от висевших над садами, домами, улицами туч пыли. Многие дома разрушены и сожжены.

Концлагерь занимал обширную территорию, огороженную колючей проволокой, в центре которой находилось красное кирпичное здание школы с примыкавшими к нему постройками. Лагерь был переполнен. Кормили плохо: тухлая конина утром и вечером. Мясо, казалось, состоит из веревочных волокон. Его невозможно было разжевать.

Это был пересылочный лагерь. Здесь никто долго не задерживался. Людей привозили, держали несколько дней и снова увозили. Куда? Об этом никто не знал. Меня не трогали. Виктора несколько раз водили на допросы к тому гитлеровцу, что прибыл из Бреста. Оттуда лейтенант возвращался усталый, молчаливый. Отвечал односложно, неохотно. Однажды он не выдержал:

— Знаешь, Леня. Я сегодня видел такое, что и словами не передашь.

— А что?

— Как расстреливают наших людей! Место красивое, зеленое. Днепр внизу. А рядом — ров вроде братской могилы. Привозят сюда — и из пулеметов...

— А тебя зачем они возили?

— Эх, Леня! Не знаю, как тебе и объяснить. Подвели меня твой Пауль Браун да комсомольский билет. Побоялся я его припрятать. А вот откуда они дознались, кто мой отец, где сестра, — просто теряюсь в догадках! Однако дознались. Разведка у них, видеть, не теряла времени зря. Теперь, все время напоминая о сестренке и об отце, они убеждают переметнуться к ним. Что там убеждают, прямо шантажируют, говоря: в противном случае напечатаем в немецких газетах о добровольно перешедшем на сторону Германии комсомольце Викторе Кедрове и сделаем так, что статья попадет в нужные руки.

— Но ведь все это ерунда! — горячо воскликнул я. — Разве нельзя доказать?

— Чудак, кому?

— Ну, нашим...

— А как?

— Да, — почесал я затылок. — Действительно, как и кому? Зачем ты им понадобился?! — выпалил я.

— Как зачем? Фашисты ищут опору среди русских. И этой «опорой» становятся всякие отщепенцы: предатели, уголовники, враги советского строя. Даже воинские подразделения из предателей надумали формировать. Да и в шпионы фашисты не прочь заполучить русского человека. Редко, но иногда и заполучают.

— Да! — вспомнил я полицейев. — И откуда, из каких закоулков выползают все эти бургомистры, старосты, полицейан? Вот и объявляются в тяжелую годину всякие подонки, усердствуют, желают выслужиться... Они вроде грязной пены, что в шторм выбрасывает на берег бушующее море. Затихнет море, засветит солнышко — и нету пены. Пропала!

«Что же делать?! Что же делать? — спрашивал я себя, пока мы понуро двигались в молчаливой очереди за своей порцией вечерней похлебки. — Как помочь Виктору, единственному близкому и дорогому мне здесь человеку?»

Продолжая думать, я машинально жевал упругие, словно резиновые, зерна плохо проваренной пшеницы. Виктор сидел рядом и молча гладил меня по голове своей горячей ладонью. Затем притянул к себе и спокойно сказал:

— Ну, ну, не думай, иди спать! Силы беречь надо. Пока живем — надеемся! Так, кажется, говорил какой-то древний мыслитель.

Слова и забота Виктора немного успокоили меня. Ощувив исходящие от этого человека тепло и покой, я и не заметил, как задремал. Проснулся вдруг от какого-то грохота. Я не сразу сообразил, что происходит. Наконец догадался. Белую Церковь бомбят!

Пленные повалили из барака. Мы тоже выскочили во двор. Над городом с надсадным треском лопались зенитные снаряды, ревели авиационные моторы, тархатели пулеметы. Звездное небо там и сям рассекали желтые клинки прожекторов. Иногда луч схватывал серебристый силуэт «Петлякова». словно щупальца, к самолету быстро присасывались другие

клинки, и вот он со своими хрупкими алюминиевыми крыльями, на которых отчетливо вырисовывались красные звезды, уже весь в сиянии мощных лучей. Бомбардировщик кидался туда-сюда, но трудно уйти от смертоносных зенитных снарядов. Затаив дыхание следили мы за этим поединком...

Старинный украинский городок полыхал в огне фугасных разрывов. Грохот неумолимо приближался. Эсэсовцы заволновались, забегали. В мертвенных всплесках взрывов было видно, как они бросились в щели, по подвалам. Рассекая воздух, вокруг начали шлепаться осколки от зенитных снарядов. Пленные повалили назад, в школу, надеясь там найти спасение от осколков. Виктор схватил меня за руку, потащил было тоже в дом. Но тут прямым попаданием начисто смело сторожевую вышку вместе с воротами. По школьной крыше запрыгали космы пламени. Одна из фугасок превратила щель с охранниками в огромную воронку.

Мы прижались плотнее к стене. Радостно заколотилось в моей груди сердце. «Давай, давай, — шептал я, — еще! Так им, сволочам!»

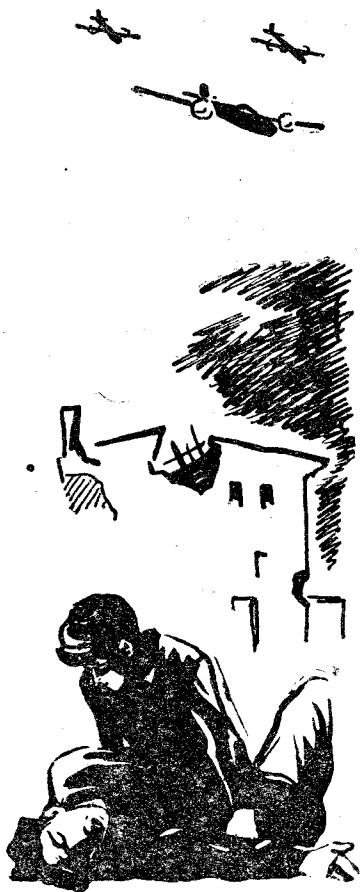
Страх не было и в помине. Его место прочно заняла ненависть, смертельная злоба. Пусть я, Виктор, весь концлагерь погибнет от своих бомб! Лишь бы проклятому фашисту не удалось уцелеть. «Петляковы» работали на совесть. Земля тряслась и стонала, изрыгая огонь и металл.

— Лень, давай за мной! — скомандовал мне Виктор и, пригибаясь, побежал к зияющему пролому, где раньше были ворота. Я за ним. Вокруг бушевали взрывы, свистели осколки, но нас уже ничто не могло

удержать. За нами ринулась толпа пленных. Эсэсовцы сидели в щелях и не думали нас преследовать.

Люди бежали молча, сосредоточенно, небольшими группами, быстро скрывались в улочках. Мы с Виктором тоже припустили по изрытой воронками улице. Багровые блики металась по земле, кругом пылали дома, кричали и плакали женщины и дети, пытаюсь спасти хоть что-нибудь из домашнего скарба, погибавшего в огне.

Не успели мы пробежать и половины улицы, как «Петляковы» пошли на новый заход. С томительным стоном понеслись на землю бомбы. Одна, другая, третья... Пламя разрывов заметалось по земле. Вокруг засви-



стели осколки. Вдруг Виктор споткнулся, нерешительно опустился на колени и медленно повалился на правый бок. Я подбежал к нему. Широко открытым ртом он судорожно хватал воздух. Глаза взглянули на меня недоуменно. Боль и страх выдавили из них крупные слезинки, и одна за другой они скользили по грязной щеке. В дрожащем свете пожара я с ужасом разглядел темное пятно, растекавшееся около Виктора.

Я бросился на колени перед ним. Глаза друга были теперь закрыты. В страхе, словно ища у умираю-



шего защиты, я прижался к нему и замер. Отчаяние и обида, что ничем не могу помочь этому человеку, заполнили мою душу. Виктор вздрогнул и открыл глаза. Увидев мое искаженное от испуга лицо, он еле слышно прошептал:

— А, это ты! Хорошо, хорошо... Не плачь, не надо! Скажи там, нашим...

Он захрипел, пытаясь еще что-то произнести, но не смог. Наконец, собрав остатки сил, приподнялся на локтях и четко проговорил:

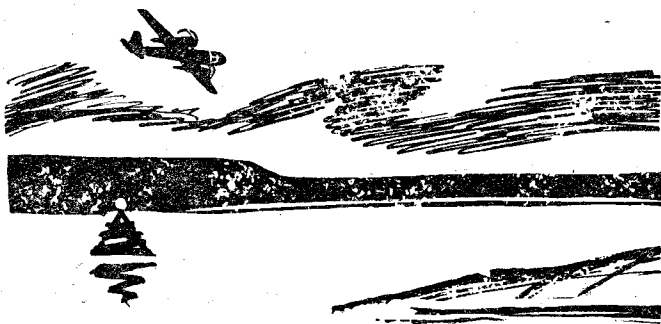
— Вот и все, брат, ты должен идти...

Куда идти, он так и не успел сказать. Его голова поникла.

В ужасе я затряс Виктора, упрямо повторяя:

— Не надо! Не надо! Ты должен жить!

Вцепившись в еще теплые плечи друга, я пытался приподнять уже налившееся тяжестью тело. Весь ужас прошлого и настоящего сразу обрушился на меня. Упав на грудь Кедрова, я разрыдался.



Смерть Виктора так потрясла меня, что я на время перестал воспринимать тот ад, который был вокруг меня. Это была не первая бессмысленная смерть, которая встретила меня со дня начала войны.

А сколько их, таких бессмысленных смертей, случилось всего за эти месяцы войны. По всему фронту могилы, могилы сопровождали меня сотни километров, от Брестской крепости до Белой Церкви. Сколько их впереди?! Может, и мой черед придет на этом опасном пути к своим?

Эта мысль возвратила меня из мира раздумий в мир реальный. Бомбежка кончилась. Где-то далеко циркали по небосводу клинки прожекторов.

«Дойти», — вспомнил я последнее слово, произнесенное Виктором.

«Дойти» — теперь это слово обрело для меня смысл. Это был приказ! Я должен был добраться до



линии фронта и рассказать, все рассказать нашим. Рассказать, как фашисты хотели склонить Виктора к предательству, как погибали мои товарищи и в Брестской крепости и на Украине... Они отдали свои жизни за Родину. И люди должны об этом узнать!

Глотая слезы, то и дело останавливаясь, я побрел по улице. Не помню, как очутился за городом. Повалившись на траву, словно окунулся в беспамятство. Проснулся, когда солнце уже припекало. Хотелось есть, но еды не было. Не теряя времени, держась подальше от дорог, я побрел на восток. Там был Днепр, там должен быть фронт!

До реки мне не удалось добраться. Всюду стояли вражеские части. В плавнях полыхали пожары. Фашисты бомбили плавни, поджигали их, сбрасывая бочки с нефтью. Желтый ядовитый дым вздымался к небу. В плавнях отбивались от врага группы красноармейцев и партизан. Положение их было незавидное, но люди держались, предпочитая смерть плену.

Суровые версты

Боясь быть схваченным фашистами или полицией, я двинулся от Днепра. Переплыв реку Рось и оставив слева Черкассы, Смелу, Знаменку, я в один прекрасный день очутился в Кировограде. Это был первый крупный город, через который я осмелился пройти. Война пощадила Кировоград. На улицах былолюдно. На стенах висели приказы германского командования, запрещавшие буквально все: ходить вечером по улицам, пускать в дома незнакомых людей, собираться группами.

Исключением был базар, по-южному красочный и говорливый. Но то и дело в толпе встречались немецкие солдаты, эсэсовцы, полицаи. За кусок хлеба они выменивали у изголодавшихся людей все мало-мальски ценное, громко обсуждая между собой ту или иную выгодную сделку.

Выбравшись из шумной толпы, я поспешил на окраину. Навстречу мне, широко ставя ноги и раскачиваясь, словно на палубе корабля в шторм, двигался лысый, пузатый человек огромного роста. Его красное лицо лоснилось от пота. В каждой руке он осторожно нес по арбузу, крепко прижимая их к животу. Человек спешно прошел мимо меня, направляясь к базару, а я еще долго смотрел ему вслед.

И было как-то странно видеть его деловитую мощ-

ную фигуру — вокруг война, а этот здоровяк сейчас думает только об одном, как бы поудачнее сбыть свои арбузы. Было жарко, а мне так хотелось откусить хоть кусочек от прохладной сладкой скибки арбуза. Но у меня не было ни денег, ни какой-нибудь вещи, а обладатель арбузов по виду был не из тех, кого трогает чужая жажда и голод.

Наша память часто прячет в своих тайниках переплетения незначительных встреч и событий, которые только в определенной ситуации становятся яркими и запоминающимися. От тех осенних дней сорок первого года у меня в памяти сохранились картины оккупированного Кироваграда и этот, будто накачанный воздухом толстяк с арбузами. Мне так хотелось броситься к нему, ударить головой в жирное брюхо, так, чтобы арбузы разлетелись в разные стороны. Увы, это желание так и осталось неудовлетворенным. Но образ этого торгаша ярок в моей памяти. Отчетливо помню я и сердобольного, слащавого старичка, давшего мне приют в своей добротно построенной хате, окруженной старым вишневым садом. Мне казалось, что именно он, этот сад, чудесным образом уберег тишину и довольство этого дома в дни, когда кругом столько горя.

Старичок был небольшого росточка, с седой бородкой и головой, остриженной под кружок. Светлые глазки хитро поблескивали, когда он говорил приятные, добрые слова. Одевался он в холщовую белую рубаху, выпущенную поверх галифе. Ходил босиком, говоря: «Это полезно для организма». Бабка была полной его противоположностью. Рослая, пудов шести весом, она предпочитала сидеть на завалинке

и лузгать семечки, время от времени обращаясь к старику: «Мыкола, а Мыкола! Мабудь, треба сенца коняге подкынуть!»

Оба тревожились за худущего гнедого мерина, которого нашли в степи. Видать, конь был брошен ездовыми из-за своей немощи. Правда, он быстро оправился, и его тихое ржание иногда доносилось из клуни, вызывая у стариков тревогу. Они боялись, что немцы отберут коня.

В дом к Миколе Никитичу я попал уже в октябре, оставив позади Пятихатку, по дороге в Запорожье. Я очень устал, износил окончательно свои башмаки, занозил ногу и был очень признателен деду и бабке за то, что они приютили меня. Правда, оба они были скуповаты, но я этому не придавал значения. Не то время! Над головой была крыша, я имел кусок хлеба, думал залечить ногу, а там двинуть дальше.

Дед Микола был набожен, многословен и каждую мысль, дергая себя за бородавку, подкреплял словами: «Бог дал, бог взял».

Однажды под вечер к моим хозяевам зашел деревенский староста Тертый, разбитной хитрый дядька лет сорока. На выскобленный до желтизны стол поставили бутылку горилки, огурцы, помидоры, сало. Я сидел на завалинке, не обращая внимания на хмельной разговор. Невольно до моего слуха долетели слова: «А что с хлопчиком робить будешь?»

«Обо мне!» — прислушался я к беседе.

— Как — что? Бог дал, бог взял!

В хате крикнули, помолчали. Потом старуха слезливо начала: «Надо огород убирать. Хлопчик самим нужен».

«Что это они, — подумал я, — заинтересовались моей особой?»

То, что я услышал дальше, наполнило меня ужасом. Кровь бросилась в голову. Я даже привскочил от неожиданности, но сдержался, слушая разговор.

— Значит, так, Микола, — говорил староста, — завтра запрягай гнедого, и с утра двинем в райцентр! Хлопцу скажи, что едем на базар. А там — прямо в комендатуру!

— А зачем немцам дети? — спросила бабка.

— Зачем, зачем? — недовольно пробурчал старик. — Понимать надо! Собирает немец безродных и в специальный детдом! Все равно пропадут в лютую годину. А там кормить будут, одевать. Ну и опыты, говорят, разные проводить над ними или что еще... Всякое болтают!

— И десять красненьких за него получишь! — захлебываясь, засмеялся Тертый. — Да и документ на конягу выправим!

— Добре! — с радостью согласился дед.

— Ну давайте. До утра! — нахлобучил шапку староста, переступая через порог.

Увидав меня, он приостановился, а потом решительно шагнул в калитку. В доме заспорили. Бабка нападала:

— Ты что же, старый ирод, чужого дитя фашисту хочешь отдать? Ты его рожал? Кормил?

— Чего разгавкалась? Не твоего ума дело!

— Старый хрыч! Тьфу! — сплюнула в сердцах старуха. — Грех такой на душу берешь. За тридцать сребренников! Советы вернутся, они тебе припомнят!

— Где там вернутся! Они, балакают, уже Харь-ков бросили, за Сталино драпанули... Да и кормить нам твоего Леньку нечем! А потом — приказ. Фашист шутковать не любит!

Бабка хотела еще что-то сказать. Но дед Микола взъярился.

— Цыц, тебе говорят! — гаркнул он. — Ишь, волю взяла!

Услышав, что старик шаркает к двери, я влетел в клуню, стараясь сдержать взволнованное дыхание.

«Ну, ничего! — думал я. — Я вам поеду на базар! Только вы меня и видели!»

Мысль о том, чтобы спалить дом, была сразу отвергнута. Поднимется буча! А потом надо быть справедливым. Ведь бабка против. Почему же ее оставлять без крова на зиму?! А с дедом мы еще встретимся, дай только нашим вернуться...

С трудом я дождался ночи. Все во мне бурлило и дрожало: «А что, если староста передумает, а ночью нагрянет с полицией?!»

Медлить нельзя.

...Гнедой, поняв меня, вел себя тихо. Мы осторожно выбрались по огороду за околицу, и я тихонько ударил его пятками по надутому пузу. Мерин взял веселой рысцой.

Уже светало, когда я очутился у Днепра. Он не удивил меня шириной. Я видел и Волгу и Амур, разлившийся около Хабаровска на многие километры. Я мог бы переплыть реку, но вода уже остыла, и над ней клубился густой пар. Днем же переплывать опасно. Надеяться проскочить через мост — смешно! Все переправы контролировались немцами.

Река, к которой я стремился, встала передо мной непреодолимой преградой. Надо было что-то предпринимать. Не мог же я идти вдоль реки «до самого Черного моря». Наконец решился. Похлопав на прощание мерина по крупу, я разыскал на берегу две коряги. Связал их ремнем и, положив на этот своеобразный плот одежду, толкнул его в воду.

Река подхватила и понесла. Левой рукой я держался за корягу, а другой что есть силы греб. Метр за метром мой плот двигался к едва видневшемуся берегу. Вначале все шло хорошо.

Наконец я достиг середины. Завертело, закружило. Я отчаянно старался вырваться из водоворотов стремнины. Вдруг ощутил, как чьи-то заботливые руки спеленали мои ноги чем-то плотным и осторожно и настойчиво потянули ко дну. Ужас сковал меня. Вцепившись левой рукой в корягу, я дико заорал и с перепугу сильно ударил правой рукой по воде. Вдруг плотное покрывало спало с ног, а меня словно кто-то подтолкнул вверх.

Как достиг берега, плохо помню. Знаю лишь одно: у меня зуб на зуб не попадал, а руки и ноги стали словно деревянные. Я бессильно повалился на песок. Усталость и сон сломили меня...

Неприветливо встретила меня левобережная Украина. Сырые ноябрьские тучи прижимались к самой земле. То и дело моросил мелкий противный дождь. Все чаще этот дождь долетал до земли колкой ледяной крупой. Она припорошивала хмурую безжизненную степь, скрывая погибший на корню урожай. Уставшая ждать жнеца мокрая пшеница сиротливо кло-

нилась к земле, надеясь одолжить у нее последние крохи тепла.

Раскормленные вороны и воробьи, быстро от ожирения устающие летать, сидели по обочинам дорог, равнодушно взирая на буксовавшие в грязи немецкие машины. Озябшие солдаты, чертыхаясь, нехотя вылезали из машин на разъезжавшуюся под их ногами жижу, толкали ревершие на предельных оборотах автомобили, подбрасывая под их колеса охапки соломы из попадавшихся кое-где в степи скирдов.

Бывало, что увязшую немецкую колонну обгоняли на своих высоких фурах союзники: румыны или мадьяры. Тогда в поле разгорались целые баталии. Угрожая оружием, а иногда паля в воздух, немцы бесцеремонно отбирали у союзников лошадей и целыми десятками впрягали их в какой-нибудь многотонный «даймлер-бенц». Вокруг с злыми лицами суетились возницы, глядя, как рвутся построжки. Когда, наконец, колонна уходила, союзники долго чинили упряжь.

Эти пробки часто привлекали «Петляковых». Они выныривали из-за облаков и, пронзительно завывая, бросались на застрявшую колонну. Солдаты бежали в степь, ржали лошади, взрывались бензобаки, и брызги горящего бензина поджигали фургоны.

Клубы черного дыма неслись ввысь. Ошметки липкой грязи, перемешанной с осколками, разлетались вокруг. Иногда бомбардировщики низко-низко пронеслись над дорогами, и белые лепестки плавно опускались на землю. Листовки разбрасывали и русские и немецкие самолеты. Листовки, сброшенные с наших самолетов, призывали народ ничего не оставлять врагу, вступать в партизанские отряды, биться с фашис-

тами до последнего вздоха. Обычно они заканчивались словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

В тех пустынных, неуютных степях, по которым я шел, нечего было уничтожать, некому было идти в партизаны. В годы гражданской войны в этих местах с гиком и свистом гуляли банды батьки Махно. Теперь здесь свистел лишь промозглый сырой ветер, хозяйничали холод и голод. Небольшие городки и села, что встречались мне на пути, частью были разрушены, частью сожжены. Там и сям торчали печные трубы. По пепелищам, злобно скаля клыки и рыча, шныряли одичавшие псы. Люди, даже если их дома оставались целыми, предпочитали ютиться в землянках, где-нибудь подальше от центральных улиц, по которым шли немецкие машины. Если мне удавалось на ночь приютиться в какой-нибудь землянке, то я был счастлив. Старики, женщины, дети спали вповалку на застланном тряпьем полу. Бывало, что в землянке жарко трещала буржуйка, наполняя темноту дорогим теплом и едким дымом, от которого слезились глаза. Это было единственное, чем могли поделиться со мной хозяева.

Голод заключил прочный союз с холодом. Кусок черствого хлеба, промерзший бурак или картошка стали бесценным даром. Даже кружка крутого кипятка была для меня в те дни целым событием. Пожиться съестным где-нибудь у стоянки немецких войск становилось все трудней и трудней. Все выгодные «позиции» занимали местные ребята. И хоть они отчаянно дрались между собой за любую опорожненную банку из-под консервов, когда же появлялся чужак,

они сообща и довольно дружно защищали свое право на добычу. Однако я был не из тех, кто давал себя в обиду. Мой тысячекилометровый путь не прошел даром: я научился драться, стал решительным и уверенным в себе. Если



надо было, то смело вступал в драку, норовя нанести удар первым и обязательно самому сильному противнику. Когда это удавалось, то победа, а с нею и кусок твердого, как камень, хлеба были моей наградой.

Женщины и дети, нагрузив санки последним скарбом, покидали города. Они шли в завьюженную степь, надеясь где-нибудь выменять ведро кукурузы или меру пшеницы за последнюю одежду и обувь. О мясе или масле даже не мечтали. В деревнях самым нечего было есть. И все-таки городские брели в деревни. Брели по колено в снегу, волоча за руки плачущих детей. Брели и падали. Поднимались и вновь тащились. А бывало, и не поднимались. Сухой шуршащий снег заносил темные бугорки в степи и сравнивал их с землей...

Изменились времена и для немцев. От былой беззаботности у оккупантов не осталось и следа. Некогда радостные физиономии фашистов стали угрюмыми и злыми. Их щегольские френчи и шинели не были рассчитаны на крепкие русские морозы. Поверх своих зеленых пилокоток немцы теперь накручивали полотенца, какие-то башлыки, а то и просто тряпки. На шинели надевали все, что только можно было надеть, вплоть до дамских шубок, невесть где раздобытых солдатней. Стали оккупанты вести себя строже и на дорогах. Мужчин сразу задерживали и отправляли то на земляные работы, а то прямо в концлагерь. Моей персоной особенно не интересовались. Для порядка спрашивали: «Куда идешь? Откуда?»

— Собираю милостыню! — этот ответ вполне устраивал озябших солдат.

И если фашистов мне удавалось одурачить, то обмануть мороз было невозможно. Холод был хуже любого врага. Он преследовал меня каждый час, каждую минуту. Его студеное дыхание проникало в рукава легкой курточки, забиралось в разбитые ботсы, хватало меня за нос и уши. Просто удивительно, как я шел по злой ноябрьской степи и не простужался. Если говорить точно, то я не шел, а все время трусил рысцой. Так было теплее. Зато чаще приходилось останавливаться и перевязывать обрывками бечевы оторвавшиеся подошвы. С трудом шевеля закоченевшими пальцами, я пытался побыстрее закончить «ремонт».

Но несмотря ни на что, я упрямо двигался вперед на восток. Частенько меня обгоняли фашисты на своих крытых брезентом машинах. Увидев меня, бегущего вдоль обочины дороги, солдаты свистели и кричали: «Олимпик чемпион! Виват!» Но я не обращал на их возгласы никакого внимания.

Наступающая зима, так безжалостно тиранившая меня своими ранними морозами, как-то ни странно, была и моим союзником. Фронт катился на восток все медленнее и медленнее. Я начал его настигать. Далеко позади остались Гуляй-поле, Волноваха... Впереди меня ждал Ростов. В чьих он находился руках, я не знал, но ощущение близости этого города удваивало мои силы. Чуть свет я уже выходил на дорогу, продолжая свой гигантский марафон. О близости фронта говорило все: навстречу все чаще попадались автомашины с красными крестами на бортах, каждый населенный пункт был буквально наспигован вражескими солдатами. Встречались не только немцы, ма-

дьяры, румыны, но и итальянцы, шеголявшие по крепкому русскому морозцу в своих легоньких шинелях. Немецкие солдатские кладбища встречались теперь все чаще, и были они все обширнее и обширнее.

Участились бомбежки, особенно ночные. Начался декабрь сорок первого года. В эти дни вся разноязычная орава оккупантов вдруг пустилась в сторону «Нах фатерлянд». По промерзшим звенящим дорогам торопливо лязгали гусеницы танков с опознавательными знаками дивизии СС «Викинг». Бешено неслись на запад грузовики, в которых сидели стрелки 49-го горнострелкового корпуса. Я злорадно глядел, как фашисты бросают застрявшие в сугробах грузовики и топают дальше пешком. Так мы и маршировали: фашисты на запад, а я на восток!

Однажды под вечер за мной увязалась ворона. Она, хрипло каркая, носилась вокруг меня, то садилась впереди, то вновь взмывала в воздух. Это мне надоело.

— Что тебе надо? — злился я, тщетно пытаюсь отломать от смерзшейся рытвины ком земли и запустить им в наглую птицу.

Закрутила поземка. Поднявшаяся снежная пыль еще больше сгустила надвигавшийся мрак. Ветер крепчал. Я упрямо шагал вперед. Ворона теперь уже молча преследовала меня. Жилья все не было, хоть, по моим сведениям, оно уже должно было появиться. Рыхлые сугробы волнами перекатывались по полю. Снег доходил почти до колена. Выбиваясь из последних сил, не чувствуя холода, теперь я медленно брел вперед. Очень хотелось спать. И это было страшнее



всего. Сон нес с собой легкую смерть. Это я знал и потому насильно заставлял себя передвигать ноги.

— Еще шаг, еще, еще... — шептал я, а сердце ог-
стукивало: «Впе-ред! Впе-ред! Впе-ред!»

Вдруг моя правая нога задела за что-то твердое, лежавшее под снегом. Я упал. В нос, в рот набился снег. Зловредная ворона уселась буквально в двух метрах от моего лица. Я видел ее коричневый блестящий глаз, с радостью смотревший на меня.

— Ах ты сволочь! — замахнулся я на нее.

Ворона и не думала пугаться. Она только склонила голову, более внимательно взглянула на меня. Я пошарил рукой по бугру, о который споткнулся, надеясь найти под снегом хоть что-нибудь, чем можно запустить в нахалку.

Снег. Снова снег. И вдруг мои дрожащие пальцы ощутили мертвенный пергамент человеческой кожи — нос, губы, лоб.

Ужас сковал меня. Дико заорав, я бросился прямо на ворону. Плача я несея по полю, падал, поднимался, вновь падал. Выбившись из сил, я упал, попытался еще раз подняться на ноги, но не смог. Тогда я пополз, хватая широко открытым ртом воздух и снег. Наконец мои силы иссякли. Я лежал, прижавшись к становившейся все теплее и теплее земле, и плакал.

Перед моими глазами был снег, много снега. Он заволакивал весь мир, делал его чистым и прекрасным, создавая из белизны мягкие очертания неведомых мне фигур. Одна из этих фигур становилась все четче и яснее. Вот она наклонилась ко мне, и я увидел дорогое лицо мамы. Мама ласково улыбалась мне. Ее губы чуть-чуть дрогнули, собираясь позвать

меня, но... металлический лязг и грохот ворвался в чудесный снежный мир!

Нехотя я раскрыл глаза. Прямо надо мной нависли блестящие танковые траки. Медленно сполз я с дороги. Наткнувшись на мягкий сугроб, попытался перебраться через него, но не смог. Тогда я вздохнул, прижимаясь к мягкому снегу и желая одного — вернуть побыстрее чудесные видения: маму, ее глаза и улыбку! Почувствовать прикосновение добрых маминых рук...

Издали донесся глухой голос: «Парнишка! Живой!»

Чьи-то сильные руки подхватили меня. Я прижался щекой к колючей солдатской шинели...

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	3
Взорванная тишина	7
Крепость принимает бой	24
Надежды тают	48
Прорыв	63
Плата за страх	75
Эх, дороги...	93
«Хенде хох!»	110
Западня	122
Побег	134
Суровые версты	143